

237  
P 34699

Конст. Симонов





Конст. Сидоров

**КОНСТАНТИН СИМОНОВ**

**СТИХОТВОРЕНИЯ  
И  
ПОЭМЫ**

**ОГИЗ**

*Государственное издательство  
художественной  
литературы  
Москва  
1945*

© 37 + русск

**С Т И Х И**  
**В О Е Н Н Ы Х**  
**Л Е Т**

## УБЕЙ ЕГО

Если дорог тебе твой дом,  
Где ты русским выкормлен был,  
Под бревенчатым потолком  
Где ты, в люльке качаясь, плыл;  
Если дороги в доме том  
Тебе стены, нечь и углы,  
Дедом, прадедом и отцом  
В нём исхоженные полы;  
Если мил тебе бедный сад,  
С майским цветом, с жужжаньем пчёл,  
И под липой сто лет назад  
В землю вкопанный дедом стол;  
Если ты не хочешь, чтоб пол  
В твоём доме немец топтал,  
Чтоб он сел за дедовский стол  
И деревья в саду сломал...

Если мать тебе дорога,—  
Тебя выкормившая грудь,  
Где давно уже нет молока,

Только можно щекой прильнуть;  
Если вынести нету сил,  
Чтобы немец, её застав,  
По щекам морщинистым бил,  
Косы на руку намотав;  
Чтобы те же руки её,  
Что несли тебя в колыбель,  
Немцу, мыли его бельё  
И стелили ему постель...  
Если ты отца не забыл,  
Что качал тебя на руках,  
Что хорошим солдатом был  
И пропал в карпатских снегах,  
Что погиб за Волгу, за Дон,  
За отчизны твоей судьбу;  
Если ты не хочешь, чтоб он  
Перевёртывался в гробу,  
Чтоб солдатский портрет в крестах  
Немец взял и на пол сорвал,  
И у матери на глазах  
На лицо ему наступал...

Если жаль тебе, чтоб старик,  
Старый школьный учитель твой,  
Перед школой в петле поник  
Гордой старческой головой,  
Чтоб за всё, что он воспитал  
И в друзьях твоих и в тебе,

Немец руки ему сломал  
И повесил бы на столбе...

Если ты не хочешь отдать  
Ту, с которой вдвоём ходил,  
Ту, что долго поцеловать  
Ты не смел,— так сё любил,—  
Чтобы немцы её живьём  
Взяли силой, зажав в углу,  
И распяли её втроём,  
Обнажённую, на полу;  
Чтоб досталось трём этим псам,  
В стонах, в ненависти, в крови,  
Всё, что свято берёг ты сам,  
Всею силой мужской любви...

Если ты не хочешь отдать  
Немцу, с чёрным его ружьём,  
Дом, где жил ты, жену и мать,  
Всё, что родиной мы зовём,—  
Знай: никто её не спасёт,  
Если ты её не спасёшь.  
Знай: никто его не убьёт,  
Если ты его не убьёшь.  
И пока его не убил,  
То молчи о своей любви,  
Край, где рос ты, и дом, где жил,  
Своей родиной не зови.

Если немца убил твой брат,  
Если немца убил сосед,—  
Это брат и сосед твой мстят,  
А тебе оправдания нет.  
За чужой спиной не сидят,  
Из чужой винтовки не мстят.  
Если немца убил твой брат,—  
Это он, а не ты, солдат.

Так убей же немца, чтоб он,  
А не ты, на земле лежал,  
Не в твоём доме чтобы стон,  
А в его по мёртвом стоял.  
Так хотел он, его вина —  
Пусть горит его дом, а не твой,  
И пускай не твоя жена,  
А его пусть будет вдовой.  
Пусть исплечется не твоя,  
А его родившая мать,  
Не твоя, а его семья  
Понапрасну пусть будет ждать.  
Так убей же хоть одного!  
Так убей же его скорей!  
Сколько раз увидишь его,  
Столько раз его и убей!

## БЕЗЫМЕННОЕ ПОЛЕ

Опять мы отходим, товарищ,  
Опять проиграли мы бой,  
Кровавое солнце позора  
Заходит у нас за спиной.

Мы мёртвым глаза не закрыли,  
Придётся нам вдовам сказать:  
Мы слишком с тобою спешили,  
Чтоб долг им последний отдать.

Не в честных солдатских могилах —  
Лежат они прямо в пыли.  
Но, мёртвых отдав поруганью,  
Зато мы живыми пришли.

Не правда ль, мы так и расскажем  
Их вдовам и их матерям:  
Мы бросили их на дороге,  
Зарыть было некогда нам.

Ты, кажется, слушать не можешь?  
Ты руку занёс надо мной...  
За слов моих страшную горечь  
Прости мне, товарищ родной,

Прости мне мои оскорбления,  
Я с горя тебе их сказал,  
Я знаю, ты рядом со мною  
Сто раз свою грудь подставлял.

Я знаю, ты пуль не боялся,  
И жизнь, что дала тебе мать,  
Берёг ты с мужскою надёжой  
Её подороже продать.

Ты, верно, родился в сорочке,  
Что всё ещё жив до сих пор,  
И смерть тебе меньшею мукой  
Казалась, чем этот позор.

Ты можешь ответить, что мёртвых  
Завидуешь сам ты судьбе,  
Что мёртвые сраму не имут,  
Нет,— имут, скажу я тебе.

Нет, имут. Глухими ночами,  
Когда мы отходим назад,  
Восставши из праха, за нами  
Покойники наши следят.

Солдаты великих походов,  
Умершие грудью вперёд,  
Со срамом и яростью слышат  
Полночные скрипы подвод,

И вынести срама не в силах,  
Мне чудится, в страшной ночи  
Встают мертвецы всей России,  
Поют мертвецам трубачи.

Беззвучно играют их трубы,  
Незримы от ног их следы,  
Словами беззвучной команды  
Их ротные строят в ряды.

Они не хотят оставаться  
В забытых могилах своих,  
Чтоб пушек немецких колёса  
К востоку ползли через них.

В бело-зелёных мундирах,  
Как при Великом Петре,  
Мёртвые преображенцы  
Строятся молча в каре.

Плачут седые капралы,  
Протяжно играет рожок,  
Впервые с Полтавского боя  
Уходят они на восток.

Из-под твердынь Измаила,  
Не знавший досель ретирад,  
Понуро уходит последний  
Суворовский мёртвый солдат.

Гремят барабаны в Карнатах,  
И трубы над Бугом поют,  
Сибирские мёртвые роты  
У стен Перемышля встают.

И на истлевших постромах  
Вспять через Неман и Прут  
Артиллерийские кони  
Разбитые пушки везут.

Ты слышишь, товарищ, ты слышишь,  
Как мёртвые следом идут,  
Ты слышишь: не только потомки,  
Нас предки за это клянут.

Так дай же мне клятву, товарищ,  
Что больше ни шагу назад,  
Чтоб больше не шли вслед за нами  
Безмолвные тени солдат.

Чтоб там, где мы стали сегодня,—  
Пригорки, да мелкий лесок,  
Куриный ручей в пол-аршина,  
Прибрежный отлогий песок,—

Чтоб этот досель неизвестный  
Кусок нас родившей земли  
Стал местом последним, докуда  
Последние немцы дошли.

Пусть то безыменное поле,  
Где нынче пришлось нам стоять,  
Вдруг станет той самой твердыней,  
Которую немцам не взять.

Ведь тоже в Можайском уезде  
Лишь знали название села,  
Которое позже Россия  
Бородиным назвала.

Июль 1942 г.

## СЛЕПЕЦ

На видевшей виды гармонии,  
Перебирая хриплый строй,  
Слепец играл в чужом вагоне  
«Вдоль по дороге столбовой».

Ослепнувший под Молодечно  
Ещё на той, на той войне,  
Из лазарета он, увечный,  
Пошёл, нахмурясь, по стране.

Сама Россия осенила  
Крестом калеку в забытьи  
И во владенье подарила  
Дороги длинные свои.

Он шёл, к увечью привыкая.  
Струились слёзы по лицу.  
Вилась дорога столбовая,  
Навеки данная слепцу.

Все люди русские хранили  
Его, чтоб был он невредим,  
Его крестьяне подвозили,  
И бабы плакали над ним.

Проводники вагонов жёстких  
Через Сибирь его везли.  
От слёз засохшие полоски  
Вдоль чёрных щёк его легли.

Он слеп, кому какое дело  
До горестей его чужих?  
Но вот гармонь его запела,  
И кто-то первый вдруг затих..

И сразу на сердца людские  
Печаль, сводящая с ума,  
Легла, как будто вдруг Россия  
Взяла их за руки сама

И повела под эти звуки  
Туда, где пепел и зола,  
Где женщины ломают руки  
И кто-то бьёт в колокола.

По деревням, по пепелищам,  
Среди нагнувшихся теней  
— Чего вы ищете?— Мы ищем  
Своих детей, своих детей...

По бедным, вымершим равнинам,  
По жёлтым волчьим огонькам,  
По дымным заревам, по длинным  
Степным бесснежным пустырям,

Где со штыком в груди открытой  
Во чистом поле, у ракит,  
Ручкой родною не обмытый  
Сын русской матери лежит;

Где, если будет месть на свете  
Пам на пути, то там, то тут,  
Непохороненные дети  
Гвоздикой красной прорастут;

Где ничего не напророчишь  
Черней того, что было там...

. . . . .  
— Стой, гармонист. Чего ты хочешь?  
Зачем ты ходишь по пятам?

Своё израненное тело  
Уже я нёс в огонь атак.  
Тебе Россия петь велела?  
Я ей не изменю и так.

Скажи ей про меня: не станет  
Солдат напрасно отдыхать,  
Как только раны чуть затянет,  
Пойдёт солдат на бой опять.

Скажи ей: не ища покоя,  
Пройдёт солдат кровавый путь.  
Ну, и сыграй ещё такое,  
Чтоб мог я сердцем отдохнуть...

• • • • •

Слепец лады перебирает,  
Он снова только стар и слеп.  
И раненый слезу стирает  
И режет пополам свой хлеб.

1943

Э. С. С.



## ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Пожар стихал. Закат был сух.  
Всю ночь, как будто так и надо,  
Уже не поражая слух,  
К нам долетала канонада.

И между сабель, шпор, сапог,  
До пояса не доставая,  
Внизу, как тихий василёк,  
Бродила девочка чужая.

Где дом её, что стало с ней  
В ту ночь пожара — мы не знали.  
Перегибаясь к ней с копей,  
К себе на сёдла поднимали.

Я говорил ей: «Что с тобой?»  
И вместе с ней в седле качался  
Пожара отсвет голубой  
Навек в глазах её остался.

Она, как маленький зверёк,  
К косматой бурке прижималась,  
И глаза спящий уголёк  
Всё догореть не мог, казалось...

. . . . .

Когда-нибудь в тиши ночной,  
С черёмухой и майской дремой,  
У женщины совсем чужой  
И всем нам вовсе не знакомой,  
Заметив грусть и забытьё  
Без всякой видимой причины,  
Что с нею, спросит у неё  
Чужой, не знавший нас, мужчина.

А у неё сверкнёт слеза,  
И, вздрогнув, словно от удара.  
Она поднимет вдруг глаза  
С далёким отблеском пожара.

«Не знаю, милый». А в глазах  
Вновь полетят в дорожной пыли  
Кавалеристы на конях,  
Какими мы когда-то были.

Деревни будут догорать,  
И кто-то под ночные трубы  
Девчонку будет поднимать  
В седло, накрывши буркой грубой.

## Б И Н О К Л Ъ

Словно смотришь в бинокль перевёрнутый —  
Всё, что сзади осталось, уменьшено.  
На вокзале, метелью подёрнутом,  
Где-то плачет далёкая женщина.

Снежный ком, обращённый в горошину, —  
Её горе отсюда не видимо;  
Как и всем нам, войною непрошено  
Мне жестокое зрение выдано.

В нём туманится наше недавнее,  
Как равнина пустая и снежная,  
Там не видно тебя, моя славная,  
Твоих плачущих глаз, моя нежная.

Были грустью и ревностью мелкою  
Наши судьбы непрочно испытаны,  
Суетливой секундной стрелкою  
Были дружба и верность отсчитаны.

Что-то очень большое и страшное,  
На штыках принесённое временем,  
Не даёт нам увидеть вчерашнего  
Нашим гневным сегодняшним зрением.

Мы, пройдя через кровь и страдания,  
Снова к прошлому взглядом приблизимся,  
Но на этом далёком свидании  
До былой слепоты не унизимся.

Слишком многих друзей не докличется  
Повидавшее смерть поколение,  
И обратно не всё увеличится  
В нашем, горем испытанном зрении.

1941

## СОЛДАТСКИЙ РАЗГОВОР

Последний кончился огарок,  
И по невидимой черте  
Три красных точки трёх дыгарок  
Безмолвно бродят в темноте.

О чём наш разговор солдатский?  
О том, что нынче Новый год,  
И света нет, и холод адский,  
И снег, как каторжный, метёт.

Один сказал:— Моя сегодня  
Полю помоеет, как при мне.  
Потом детей, чтоб быть свободней,  
Уложит. Сядет в тишине.

Ей сорок лет,— мы с ней погодки.  
Всплакнёт ли, просто ли вздохнёт,  
Но уж наверно рюмкой водки  
Меня по-русски помянёт...

Второй сказал:— Уж год с лихвою  
С моей война нас развела.  
Я, с молодой простясь женою,  
Взял клятву, чтоб верна была.

Я клятве верю; коль не верить,  
Как проживёшь в таком аду?  
Наверно, всё глядит на двери,  
Всё ждёт, сегодня — вдруг приду...

А третий лишь вздохнул устало:  
Он думал о своей,— о той,  
Что с лета прошлого молчала  
За чёрной фронтовой чертой...

И двое с ним заговорили,  
Чтоб не грустил он, про войну;  
Куда их жёны отпустили,  
Чтобы спасти его жену.

## ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

*Женщине из г. Вичуги*

Я вас обязан известить,  
Что не дошло до адресата  
Письмо, что в ящик опустить  
Не постыдились вы когда-то.

Ваш муж не получил письма,  
Он не был ранен тоном пошлым,  
Не вздрогнул, не сошёл с ума,  
Не проклял всё, что было в прошлом.

Когда он поднимал бойцов  
В атаку у руин вокзала,  
Нагая грубость ваших слов  
Его, по счастью, не терзала.

Когда шагал он тяжело,  
Стянув кровавой тряпкой рану,  
Письмо от вас ещё всё шло,  
Ещё, по счастью, было рано.

Когда на камни он упал,  
Сдержав последнее дыханье,  
Он всё ещё не получал,  
По счастью, вашего посланья.

Могу вам сообщить о том,  
Что, завернувши в плащ-палатки,  
Мы ночью в сквере городском  
Его зарыли после схватки.

Стоит звезда из жести там  
И рядом тополь — для приметы..  
А впрочем, я забыл, что вам,  
Наверно, безразлично это.

Письмо нам утром принесли..  
Его, за смертью адресата,  
Между собой мы вслух прочли,—  
Уж извините нам, солдатам.

Быть может, память коротка  
У вас. По общему желанью,  
От имени всего полка,  
Я вам напомним содержанье.

Вы написали, что уж год  
Как вы знакомы с новым мужем,  
А старый, если и придёт,  
Вам будет всё равно не нужен.

Что вы не знаете беды,  
Живёте хорошо. И кстати,  
Теперь вам никакой нужды  
Нет в лейтенантском аттестате.

Чтоб писем он от вас не ждал  
И вас не утруждал бы снова...  
Вот именно: «не утруждал»...  
Вы побольней искали слова.

И всё. И больше ничего.  
Мы перечли их терпеливо,  
Все те слова, что для него  
В разлуки час в душе нашли вы.

«Не утруждай». «Муж». «Аттестат»...  
Да где ж вы душу потеряли?  
Ведь он же был солдат, солдат!  
Ведь мы за вас с ним умирали.

Я не хочу судьёю быть,  
Не все разлуку побеждают,  
Не все способны век любить,—  
К несчастью, в жизни всё бывает,

Но как могли вы, не пойму,  
Стать, не боясь, причиной смерти,  
Так равнодушно вдруг чуму  
На фронт отправить нам в конверте?

Какой холодною рукой  
Вы на письмо клеили марки,  
Какой палаческий покой  
Был в строчках без одной помарки!

Ну хорошо, пусть не любим,  
Пускай он больше вам не нужен,  
Пусть жить вы будете с другим,  
Бог с ним там, с мужем ли, не с мужем.

По ведь солдат не виноват  
В том, что он отпуска не знает,  
Что третий год себя подряд,  
Вас защищая, утруждает.

Что ж, написать вы не смогли  
Пусть горьких слов, но благородных.  
В своей душе их не нашли —  
Так заняли бы, где угодно.

В России, слава богу, есть  
Немало женских душ высоких,  
Они б вам оказали честь —  
Вам написали б эти строки;

Они б за вас слова нашли,  
Чтоб облегчить тоску чужую.  
От нас поклон им до земли,  
Поклон за душу их большую.

Не вам, а женщинам другим,  
От нас отторженным войною,  
О вас мы написать хотим,  
Пусть знают — вы тому виною,

Что их мужья на фронте тут,  
Подчас в душе борясь с собою,  
С невольною тревогой ждут  
Из дома писем, перед боем.

Мы ваше не к добру прочли,  
Теперь нас втайне горечь мучит —  
А вдруг не вы одна смогли,  
Вдруг кто-нибудь ещё получит?

Вы попытались запятнать  
Своими строками пустыми  
Тот образ женщины, что знать  
Хотим мы только как святыню.

На суд далёких жён своих  
Мы вас пошлём. Вы клеветали  
На них. Вы усомниться в них  
Нам на минуту повод дали.

Пускай поставят вам в вину,  
Что душу птичью вы скрывали,  
Что вы за женщину, жену,  
Себя так долго выдавали.

А бывший муж ваш — он убит.  
Всё хорошо. Живите с новым,  
Уж мёртвый вас не оскорбит  
В письме давно не нужным словом.

Живите, не боясь вины.  
Он не напишет, не ответит  
И, в город возвратясь с войны,  
С другим вас под руку не встретит.

Лишь за одно ещё простить  
Придётся вам его, — за то, что,  
Наверно, с месяц приносить  
Ещё вам будет письма почта.

Уж ничего не сделать тут —  
Письмо медлительнее пули.  
К вам письма в сентябре придут,  
А он убит ещё в июле.

О вас там каждая строка,  
Вам это, верно, неприятно —  
Так я от имени полка  
Беру его слова обратно.

Примите же в конце от нас  
Презренье наше, на прощанье.  
Неуважающие вас  
Покойного однополчане.

**Постскриптум:**

**Извещаем вас,**

**Что список с этих строк послали**

**Мы всюду, чтоб на этот раз**

**Вас, где б вы не жили, узнали.**

**По поручению офицеров полка**

***К. Симонов***

**1943**

## СМЕРТЬ ДРУГА

*Памяти Евгения Петрова*

Неправда, друг не умирает,  
Лишь рядом быть перестаёт.  
Он кров с тобой не разделяет,  
Из фляги из твоей не пьёт,

В землянке, занесён метелью,  
Застольной не поёт с тобой  
И рядом под одной шинелью  
Не спит у печки жестяной.

Но всё, что между вами было,  
Всё, что за вами следом шло,  
С его останками в могилу  
Улечься рядом не смогло.

Наследник гнева и презренья,  
С тех пор как друга потерял,  
Двойного слуха ты и зренья  
Пожизненным владельцем стал.

Любовь мы завещаем жёнам,  
Воспоминанья — сыновьям.  
Но по полям, войной сожжённым,  
Итти завещано друзьям.

Никто ещё не знает средства  
От неожиданных смертей.  
Всё тяжелее груз наследства,  
Всё уже круг твоих друзей.

Неси ж их груз, в боях кочуя,  
Не оставляя ничего,  
С ним вместе под огнём ночуя,  
Неси его, носи его!

Когда же ты нести не сможешь,  
То знай, что, голову сложив,  
Его ты только переложить  
На плечи тех, кто будет жив.

И кто-то, кто тебя не видел,  
Из третьих рук твой груз возьмёт,  
За мёртвых мстя и ненавдя,  
Его к победе донесёт.

## ФЛЯГА

Когда в последний путь  
Ты отправляешь друга,  
Есть в дружбе, не забудь,  
Посмертная услуга.

Оружье рядом с ним  
Пусть в землю не ложится,  
Оно ещё с другим  
Успеет подружиться.

Но флягу, что с ним дни  
И ночи коротала,  
Над ухом ты встряхни,  
Чтоб влага не пропала,

И копь ударит в дно  
Зелёный хмель солдатский —  
На два глотка вино  
Ты подели по-братски.

Один глоток отпей,  
В земле чтоб мёртвым спалось  
И дольше чтоб по ней  
Живым ходить осталосьь.

Оставь глоток второй  
И, прах предав покою,  
С ним флягу ты зарой,  
Была чтоб под рукою.

Чтоб в день победы смог,  
Как равный, вместе с нами  
Он выпить свой глоток  
Холодными губами.

1944

## У ОГНЯ

Кружится испанская пластинка,  
Изогнувшись в тонкую дугу,  
Женщина под чёрною косынкой  
Пляшет на вертящемся кругу.

Одержима яростною верой  
В то, что он когда-нибудь придёт,  
Вечные слова: «*Jo te quiero*»<sup>1</sup>  
Пляшущая женщина поёт.

В дымной, промерзающей землянке  
Под накатом брёвен и земли,  
Человек в тулупе и ушанке  
Говорит, чтоб снова завели.

У огня, где жарятся консервы,  
Греет раны он свои сейчас,  
Под Мадридом продырявлен в первый,  
И под Сталинградом—в пятый раз.

---

<sup>1</sup> «*Jo te quiero*»— «Я тебя люблю» (испанск).

Он глаза устало закрывает,  
Он да песня — больше никого...  
Он тоскует? Может быть. Кто знает?  
Кто спросить посмеет у него?

Проволоку молча прогрызая,  
По снегу ползут его полки.  
Южная пластинка, замерзая,  
Делает последние круги.

Светит догорающая лампа,  
Выстрелы да снега синева...  
На одной из улочек Дель-Кампо,  
Если ты сейчас ещё жива,

Если бы неведомою силой  
Вдруг тебя в землянку залучить,  
Где он тот, голубоглазый, милый,  
Тот, кого любила ты, спросить?

Ты, подняв опущенные веки,  
Не узнала б прежнего, того,  
В грузном, поседевшем человеке,  
В новом, грозном имени его.

Что ж, пора. Поправив автоматы,  
Встанут все. Но, подойдя к дверям,  
Вдруг он вспомнит и мигнёт солдату:  
— Шу-ка, заведи вдогонку нам.

Тонкий луч за ним блеснёт из двери,  
И метель их сразу обовьёт.  
Но, как прежде, радуясь и веря,  
Женщина во след им запоёт.

Потеряв в снегах его из вида,  
Пусть она поёт ещё и ждёт.  
Генерал упрям: он до Мадрида  
Всё равно когда-нибудь дойдёт.

1943

## А Т А К А

Когда ты по свистку, по знаку,  
Встав на растоптанном снегу,  
Был должен броситься в атаку,  
Винтовку вскинув на бегу,

Какой уютной показалась  
Тебе холодная земля,  
Как всё на ней запоминалось:  
Примёрзший стебель ковыля,

Едва заметные пригорки,  
Разрывов дымные следы,  
Щепоть рассыпанной махорки  
И льдинки пролитой воды.

Казалось, чтобы оторваться,  
Рук мало — надо два крыла.  
Казалось, если лечь, остаться —  
Земля бы крепостью была.

Пусть снег метёт, пусть ветер гонит,  
Пускай лежать здесь много дней.  
Земля. На ней никто не тронет.  
Лишь крепче прижимайся к ней.

Да, этим мыслям — ты им верил  
Секунду с четвертью, пока  
Ты сам длину им не отмерил  
Длиною ротного свистка.

Когда осекся звук короткий,  
Ты в тот неуловимый миг  
Уже тяжёлою походкой  
Бежал по снегу напрямик.

Осталась только сила ветра,  
И грузный шаг по целине,  
И те последних тридцать метров,  
Где жизнь со смертью наравне.

Но до немецкого окопа  
Тебя довёл и в этот раз  
Твой штык, которого Европа  
Не сможет перенять у нас.

## ПЕХОТИНЕЦ

Уже темнеет. Наступленье,  
Гремя, прошло свой путь дневной.  
И в нами занятом селеньи  
Снег смешан с кровью и золой.

У журавля, где как гостинец  
Нам всем студёная вода,  
Ты сел, усталый пехотинец,  
И всё глядишь назад, туда,

Где, в полверсте от крайней хаты,  
Мы, оторвавшись от земли,  
Под орудийные раскаты,  
Уже не прячась, в рост пошли.

И ты уверен в эту пору,  
Что раз такие полверсты  
Ты смог пройти, то, значит, скоро  
Пройти всю землю сможешь ты.

## МАТВЕЕВ КУРГАН

Забравшись к отцу в кабинет,  
Под пыли слежавшейся горсткой,  
Однажды найдёшь ты планшет  
Со старою картой-двухвёрсткой.

На ней ни долгот, ни широт,  
Ни Рака, ни Козерога...  
Лишь узкая речка течёт,  
Деревня, лесок и дорога.

Начавши уже собирать  
Красивые южные марки,  
Ты будешь весь мир узнавать  
От штата Техас до Ямайки.

Индийского моря лазурь,  
Плывущие в рифах медузы,  
Мыс Доброй Надежды, Мыс Бурь,  
Холодный пролив Лаперуза.

И будет тебе невдомёк,  
Зачем у отца терпеливо  
Лежит этой карты листок,  
Где нет ни пустынь, ни проливов.

Зачем, когда гости к отцу  
Придут, те, что редко бывают,  
И близится вечер к концу  
И мать им вина подливает,

Зачем им отец принесёт  
Ту неинтересную карту,  
И все, кто в тот вечер придёт,  
Нагнутся над ней, как за партой.

И, вместо полуденных стран,  
Вдруг вспомнят про Старую Руссу,  
Какой-то Матвеев Курган,  
Какую-то речку Миусу.

Подкравшись к отцу своему,  
Вдруг спросишь ты, всеми забытый:  
— Матвеев Курган. Почему?  
Лежит богатырь там убитый?

Мелькнёт в его взоре печаль,  
И скажет он голосом странным:  
— Да, там богатырь. Только жаль,  
Что он не один под курганом.

Потом, проводивши гостей,  
На стенах окинет он глазом  
Портреты усатых людей,  
Что здесь ты не видел ни разу.

И вдруг, чтоб не видела мать,  
Обычно такой непреклонный,  
Свой старый наган поиграть  
Он даст тебе, вынув патроны.

1943

## ДОМ В ВЯЗЬМЕ

Я помню в Вязьме старый дом.  
Одну лишь ночь мы жили в нём.

Мы ели то, что бог послал,  
И пили, что шофёр достал.

Мы уезжали в бой чуть свет.  
Кто был в ту ночь, иных уж нет.

Но знаю я, что в смертный час  
За тем столом он вспомнил нас.

В ту ночь, готовясь умирать,  
Навек забыли мы, как лгать,

Как изменять, как быть скупым,  
Как над добром дрожать своим.

Хлеб пополам, кров пополам,—  
Так жизни в ту ночь открылась нам.

Я помню в Вязьме старый дом.  
В день мира прах его с трудом

Найдём средь выжженных печей  
И обгорелых кирпичей.

Но мы складчину соберём  
И вновь построим этот дом.

С такой же печкой и столом  
И накрест клееным стеклом.

Чтоб было в доме всё точь-в-точь,  
Как в ту, нам памятную, ночь.

И если кто-нибудь из нас  
Рубашку другу не отдаст,

Хлеб не поделит пополам,  
Солжёт или изменит нам,

Иль, находясь в чинах больших,  
Друзей забудет фронтовых,

Мы суд солдатский соберём  
И в этот дом его сошлём.

Пусть посидит один в дому,  
Как будто утром в бою ему,

Как будто, если лжёт сейчас,  
Он, может, лжёт в последний раз.

Как будто хлеба не даёт  
Тому, кто к вечеру умрёт.

И палец подаёт тому,  
Кто завтра жизнь спасёт ему.

Пусть вместо нас лишь горький стыд  
Почь за столом с ним просидит.

Мы, встретясь, по его глазам  
Прочтём: он был или не был там.

Коль не был, значит, круг друзей  
На одного ещё тесней.

Но если был, мы у него  
Не спросим больше ничего.

Он вновь по гроб нам будет мил.  
Пусть просто скажет: — Я там был.

1943

**ЛИРИЧЕСКИЙ  
ДНЕВИК**

*В. С.*

\* \* \*

Плюшевые волки,  
Зайцы, погремушки  
Детям дарят с ёлки  
Детские игрушки.

И, состарясь, дети  
До смерти без толку  
Всё на белом свете  
Ищут эту ёлку,

Где жар-птица в клетке,  
Золотые слитки,  
Где висит на ветке  
Счастье их на нитке.

Только дед-мороза  
Нету на макушке,  
Чтоб в ответ на слёзы  
Сверху снял игрушки.

**Жёлтые иголки  
На пол опадают...  
Всё я жду, что с ёлки  
Мне тебя подарят.**

**1941**

\* \* \*

Тринадцать лет. Кино в Рязани,  
Танёр с жестокою душой.  
И на заштопанном экране  
Страданья женщины чужой;

Погоня в Западной пустыне,  
Калифорнийская гроза,  
И погибавшей героини  
Невероятные глаза.

Но в детстве можно всё на свете,  
И за двугривенный, в кино,  
Я мог, как могут только дети,  
Из зала прыгнуть в полотно,

Убить врага из пистолета,  
Догнать, спасти, прижать к груди.  
И счастье было рядом где-то,  
Там, за экраном, впереди.

Когда теперь я в тёмном зале  
Увижу вдруг твои глаза,  
В которых тайные печали  
Не выдаст женская слеза,

Как я хочу придумать средство,  
Чтоб счастье было впереди,  
Чтоб хоть на час вернуться в детство,  
Догнать, спасти, прижать к груди...

1941

\* \* \*

Пусть она поплачет,  
Ей ничего не значит.

*Лермонтов*

Если родилась красивой,  
Значит, будешь век счастливой.

Бедная моя, судьбою горькою,  
Горем, смертью,—никакою силою  
Не поспоришь с глупой поговоркою,  
Хитрым утешеньем некрасивых.

Всё, что сердцем взято будет,  
Красоте твоей присудят.

Будешь нежной, верной, терпеливой,—  
В сердце всё равно тебе откажут—  
Скажут: нету сердца у счастливой,  
У красивой нету сердца, скажут.

Что любима ты, услышат—  
Красоте опять припишут.

Выйдешь замуж — по расчёту, значит,  
Полюбить красивая не может.  
Грязь и корысть, то, что сами прячут,  
Все тебе на плечи переложат.

Если будешь гордой мужем —  
Скажут: потому что нужен.

Как других, с ним разлучит могила —  
Всем простят, тебя возьмут в немилость.  
Позабудешь — скажут: не любила,  
Не забудешь — скажут: притворилась.

Скажут: пусть она поплачет,  
Ей ведь ничего не значит.

Если напоказ им не рыдала,  
Что им до того, как ты страдала,  
Как тебя недетские печали  
На холодной площади встречали.

Как бы горе ни ломало,  
Ей, красивой, горя мало.

Нет, я не сержусь, когда, не веря  
Мне, как всем, ты вдруг глядишь пытливо.  
Верить только горю да потерям  
Вышло красивой и счастливой.

Если б наперёд всё знала,  
В детстве бы дурнушкой стала.

Может, снова к счастью добредёшь ты,  
Может, снова будет смерть и горе,  
Может, и меня переживёшь ты,  
Поговорки злой не переспоря:

Если родилась красивой,  
Значит, будешь век счастливой...

1941

\* \* \*

Майор привёз мальчишку на лафете.  
Погибла мать. Сын не простился с ней.  
За десять лет на том и этом свете  
Ему зачтутся эти десять дней.

Его взяли из крепости, из Бреста.  
Был испаран пулями лафет.  
Отцу казалось, что надёжней места  
Отныне в мире для ребёнка нет.

Отец был ранен и разбита пушка.  
Привязанный к щиту, чтоб не упал,  
Прижав к груди заснувшую игрушку,  
Седой мальчишка на лафете спал.

Мы шли ему навстречу из России.  
Проснувшись, он махал войскам рукой.  
Ты говоришь, что есть ещё другие,  
Что я там был и мне пора домой...

Здесь это горе знают понаслышке  
А нам оно оборвало сердца.  
Кто раз увидел этого мальчишку,  
Домой притти не сможет до конца

Я должен видеть теми же глазами,  
Которыми я плакал там, в пыли,  
Как тот мальчишка возвратится с нами  
И поцелует горсть своей земли.

За всё, чем мы с тобою дорожили,  
Призвал нас к бою воинский закон.  
Теперь мой дом не там, где прежде жили,  
А там, где отнят у мальчишки он.

1941

\* \* \*

Жди меня, и я вернусь.  
Только очень жди.  
Жди, когда наводят грусть  
Жёлтые дожди,  
Жди, когда снега метут,  
Жди, когда жара,  
Жди, когда других не ждут,  
Позабыв вчера.  
Жди, когда из дальних мест  
Писем не придёт,  
Жди, когда уж надоест  
Всем, кто вместе ждёт.

Жди меня, и я вернусь,  
Не жмай добра  
Всем, кто знает наизусть,  
Что забыть пора.  
Пусть поверят сын и мать  
В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,  
Сядут у огня,  
Выпьют горькое вино  
На помин души...  
Жди. И с ними заодно  
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь  
Всем смертям назло.  
Кто не ждал меня, тот пусть  
Скажет — повезло.  
Не понять неждавшим, им,  
Как среди огня  
Ожиданием своим  
Ты спасла меня.  
Как я выжил, будем знать  
Только мы с тобой —  
Просто ты умела ждать,  
Как никто другой.

1941

\* \* \*

Не сердитесь, к лучшему,  
Что, себя не мучая,  
Вам пишу от случая  
До другого случая.

Письма пишут разные:  
Слёзные, болезные,  
Иногда прекрасные,  
Чаще — бесполезные.

В письмах всё не скажется  
И не всё услышится,  
В письмах всё нам кажется,  
Что не так напишется.

Коль вернусь — так суженых  
Некогда отчитывать,  
А умру — так хуже нет  
Письма перечитывать.

Чтобы вам не бедствовать,  
Не возить их тачкою,  
Будут путешествовать  
С вами тонкой пачкою.

А замужней станете,  
Обо мне заплачете —  
Их легко достанете  
И легко припрячете.

От него, ревнивого,  
Заперевшись в комнате,  
Вы меня, ленивого,  
Добрый словом вспомните.

Скажете, что к лучшему,  
Память вам не мучая,  
Он писал от случая  
До другого случая.

1941

\* \* \*

Если бѣг нас своим могуществом  
После смерти отправит в рай,  
Что мне делать с земным имуществом,  
Если скажет он: «Выбирай!»

Мне не надо в рай тоскующей,  
Чтоб и корно за мною шла,  
Я бы взял с собой в рай такую же,  
Что на грешной земле жила,

Злую, ветреную, колючую,  
Хоть не надолго, да мою.  
Ту, что нас на земле помучила  
И не даст нам скучать в рай.

В рай, наверно, таких отчаянных  
Мало кто приведёт с собой,  
Будут праведники, печально,  
Там подглядывать за тобой.

Взял бы в рай с собой расстojппя,  
Чтобы мучиться от разлук,  
Чтобы помнить при расставании  
Боль сведённых на шее рук.

Взял бы в рай с собой все опасности,  
Чтоб вернее меня ждала,  
Чтобы глаз своих синей ясности  
Дома трусу не отдала.

Взял бы в рай с собой друга верного,  
Чтобы было с кем пировать,  
И врага, чтоб в минуту скверную  
По-земному с ним враждовать.

Ни любви, ни тоски, ни жалости.  
Даже курского соловья,  
Никакой самой малой малости  
Па земле бы не бросил я.

Даже смерть, если б было мыслимо,  
Я б на землю не отпустил,  
Всё, что к нам на земле причислено,  
В рай с собою бы захватил.

И за эти земные корысти,  
Удивлённо меня кляня,  
Я уверен, что бог бы вскорости  
Вновь на землю столкнул меня.

\* \* \*

Я не помню, сутки или десять  
Мы не спим, теряя счёт ночам.  
Вы, в похожей на Мадрид Одессе,  
Пожелайте счастья москвичам.

Днём, по капле нацедив во фляжки  
Сотый раз переходя в штыки,  
Разодрав кровавые тельняшки,  
Молча умирают моряки.

Почью бьют орудья корпусные...  
Снова мимо. Значит, в добрый час.  
Значит, вы и в эту ночь в России —  
Что вам стоит—вспомнили о нас.

Может, врут поверья, кто их знает!  
Но в Одессе люди говорят:  
Тех, кого в России вспоминают,  
Пуля трижды бережёт подряд.

Третий раз нам всем ещё не вышел,  
Мы под крышей примостились спать,  
Не тревожьтесь — ниже или выше,  
Здесь ведь всё равно не угадать.

Мы сегодня выпили, как дома,  
Коньяку московский мой запас;  
Здесь ребята с вами не знакомы,  
Но с охотой выпили за вас.

Выпили за свадьбы золотые,  
Может, ещё будут чудеса...  
Выпили за ваши голубые,  
Дай мне бог увидеть их, глаза.

Помню, что они у вас другие,  
Но ведь у солдат, во все века,  
Что глаза у женщины — голубые,  
Принято считать издалека.

Мы вас просим, я и остальные,  
Лучше, чем напрасная слеза,  
Выпейте вы тоже за стальные  
Наши, смерть выдавшие глаза.

Может быть, они у нас другие,  
Но ведь у невест, во все века,  
Что глаза у всех солдат — стальные,  
Принято считать издалека.

Мы не все вернёмся, так и знайте,  
Но ребята просят: в чёрный час  
Заодно со мной их вспоминайте,—  
Даром, что ли, пьют они за вас!

1941. Одесса.

\* \* \*

Пад чёрным носом нашей субмарины  
Взошла Венера—странная звезда.  
От женских ласк отвыкшие мужчины,  
Как женщину, мы ждём её сюда.

Она, как ты, восходит всё позднее,  
И, нарушая ход небесных тел,  
Другие звёзды всходят рядом с нею,  
Гораздо ближе, чем бы я хотел.

Они горят трусливо и бесстыже.  
Я никогда не буду в их числе,  
Пускай они к тебе на небе ближе,  
Чем я, тобой забытый на земле.

Я не прошу с опасностью земною,  
Чтоб в мирном небе мёрзнуть, как они,  
Стань лучше ты падучею звездою,  
Ко мне на землю руки протяни.

На небе любят женщину от скуки  
И отпускают с миром, не скорбя...  
Ты упадёшь ко мне в земные руки,  
Я не звезда. Я удержу тебя.

Чёрное море. 1941.

\* \* \*

Мы не увидимся с тобой.  
А женщина ещё не знала:  
Бродя по городу со мной,  
Тебя, живого, вспоминала.

По чем ей горе облегчить,  
Когда солдатскою судьбою  
Я сам назавтра, может быть,  
Сравняюсь где-нибудь с тобою.

И будет женщине другой —  
Всё повторяется сначала —  
Вернувшийся товарищ мой,  
Как я, весь вечер лгать устало.

Печальна участь нас, друзей,  
Мы всё поймём и не осудим  
И всё-таки о мёртвом ей  
Напоминать некстати будем.

Её спасём не мы, а тот,  
Кто руки на плечи положит,  
Не зная мёртвого, придёт  
И позабыть его поможет.

1941

\* \* \*

В домотканном, деревянном городке,  
Где гармоникой по улицам мостки,  
Где мы с лётчиком, сойдясь накоротке,  
Пили спирт от непогоды и тоски;

Где, как чёрный хвост кошачий, не к добру,  
Прямо в небо дым из печи над трубой,  
Где всю ночь скрипучий флюгер на ветру  
С петушиным криком крутит домовой;

Где с утра ветра, а к вечеру дожди,  
Где и солнца-то не видно из-за туч,  
Где, куда ты ни поедешь, так и жди —  
На распутии встретишь камень бел-горюч,—

В этом городе пять дней я тосковал,  
Как с тобой, хотел — не мог расстаться с ним,  
В этом городе тебя я вспоминал  
Очень редко добрым словом, чаще — злым.

Этот город весь, как твой большой портрет,  
С суевьем, с несчастливой ворожбой,  
С переменчивой погодою чуть свет,  
По ночам, как ты, с короной золотой.

Как тебя, его не видеть бы совсем,  
А увидев, прочь уехать бы скорей,  
Он, как ты, вчера не дорог был ничем,  
Как тебя, сегодня нет его милей.

Этот город мне помог тебя понять,  
С переменчивою северной душой,  
С редкой прихотью неласково снять  
Зимним солнцем над моею головой.

Замечает деревянные дома,  
Спят солдаты, снег валит через порог...  
Где ты плачешь, где поёшь, моя зима?  
Кто опять тебе забыть меня помог?

\* \* \*

Я помню двух девочек, город ночной...  
В ту зиму вы поздно спектакли кончали.  
Две девочки ждали в подъезде со мной,  
Чтоб вы, проходя, им два слова сказали.  
Да, я увозил вас. И всё-таки к ним,  
Пожалуй, щедрей, чем ко мне, вы бывали.  
Двух слов они ждали. А я б и одним  
Был счастлив, когда б мне его вы сказали.

Я помню двух девочек; странно сейчас  
Вдруг вспомнить две снежных фигурки у входа...  
Подъезд театральный надолго погас,  
Вам там не играть в зиму этого года.  
Я очень далёко. Но, может, они  
Вас в дальнем пути без меня провожают?  
И с кем-то другим в эти зимние дни  
Встроём, как со мной, у подъезда скучают?

Я помню двух девочек. Может, живым  
Я снова пройду вдоль заснеженных улиц  
И, девочек встретив, поверю по ним,  
Что в старый наш город вы тоже вернулись.  
Боюсь, что мне незачем станет вас ждать,  
Но будет всё снежная, та же погода,  
И девочки будут стоять и стоять,  
Как вечные спутницы ваши, у входа...

1941

\* \* \*

Я был за тебя под Одессой в землянке,  
В Констанце над чёрной румынской водой,  
Под Вязьмой на синем ночном полустанке,  
В Мурманске под белой Полярной звездой.

Едва ль ты узнаешь, моя недотрога,  
Живые и мёртвые их имена,  
Всех добрых ребят, с кем меня на дорогах  
Короткою дружбой сводила война.

Подводник, с которым я плавал на лодке,  
Разведчик, с которым я к финнам ходил,  
Со мной вспоминали за рюмкою водки  
О той, что товарищ их нежно любил.

Загадывать на год война нам мешала,  
И даже за ту, что, как жизнь, мне мила,  
Сегодня я был, чтоб сегодня скучала,  
А завтра мы выпьем, чтоб завтра ждала.

И кто-нибудь, вспомнив чужую, другую,  
Вздохнув, мою рюмку посмотрит на свет  
И снова пальёт мне: — Тоскуешь? — Тоскую.  
— Красивая, верно; жаль, карточки нет.

Должно быть, сто раз я их видел, не меньше.  
Мужская привычка — в тоскливые дни  
Показывать смятые карточки женщин,  
Как будто и правда нас помнят они.

Чтоб всех их любить, они стоят едва ли,  
Но что ж с ними делать, раз трудно забыть!  
Хорошие люди о них вспоминали,  
И, значит, дай бог им до встречи дожить.

Стараясь разлуку прожить без оглядки,  
Как часто, не веря далёкой своей,  
Другим говорил я: «Всё будет в порядке,  
Она тебя ждёт, не печалься о ней».

Пам легче поверить всегда за другого,  
Как часто, успев его сердце узнать,  
Я верил: другого — пускай, но такого  
Не смеет она ни забыть, ни продать.

Как знать, может, с этим же чувством знакомы  
Все те, с кем мы рядом со смертью прошли,  
Решив, что и ты не изменишь такому,  
Без спросу на верность тебя обрекли.

\* \* \*

*А. Суркову*

Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины,  
Как шли бесконечные, злые дожди,  
Как кринки несли нам усталые женщины,  
Прижав, как детей, от дождя их к груди.

Как слёзы они вытирали украдкою,  
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!»  
И снова себя называли солдатками,  
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный больше, чем вёрстами,  
Шёл тракт, на пригорках скрываясь из глаз:  
Деревни, деревни, деревни с погостами,  
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждую русской околицей,  
Крестом своих рук ограждая живых,  
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся  
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, всё-таки родина  
Не дом городской, где я празднично жил,  
А эти просёлки, что дедами пройдены,  
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою  
Дорожной тоской от села до села,  
Со вдовьей слезою и с песнею женскою  
Впервые война на просёлках свела.

Ты помнишь, Алёша, изба под Борисовом,  
По мёртвому плачущий девичий крик,  
Седая старуха в салончике плюсовом,  
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их?  
Но, горе поняв своим бабьим чутьём,  
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,  
Покуда идите, мы вас подождём».

Мы вас подождём! — говорили нам пажити.  
Мы вас подождём! — говорили леса.  
Ты знаешь, Алёша, ночами мне кажется,  
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища  
По русской земле раскидав позади,  
На наших глазах умирают товарищи,  
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока ещё милуют,  
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,  
Я всё-таки горд был за самую милую,  
За горькую землю, где я родился.

За то, что на ней умереть мне завещано,  
Что русская мать нас на свет родила,  
Что, в бой провожая нас, русская женщина  
По-русски три раза меня обняла.

1941

\* \* \*

Я, перебрав весь год, не вижу,  
Того счастливого числа,  
Когда всего верней и ближе  
Со мной ты связана была.

Я помню зал для репетиций,  
И свет зажжённый, как на грех,  
И шопот твой, что не годится  
Так делать на виду у всех.

Твой звёздный плащ из старой драмы,  
И хлыст наездницы в руках,  
И твой побег со сцены прямо  
Ко мне на лёгких каблуках.

Нет, не тогда. Так, может, летом,  
Когда, на сутки отпуск взяв,  
Я был у ног твоих с рассветом,  
Машину за почь доконав.

Какой была ты сонной-сонной,  
Вскочив с кровати босиком,  
К моей шинели пропылённой  
Как прижималась ты лицом!

Как бились жилки голубые  
На шее под моей рукой!  
В то утро, может быть, впервые  
Ты показалась мне женой.

И всё же не тогда, я знаю,  
Ты самой близкой мне была.  
Теперь я вспомнил: ночь глухая,  
Обледеневшая скала...

Майор, проверив по карманам,  
В тыл приказал бумаг не брать;  
Когда придётся, безымянным  
Разведчик должен умирать.

Мы к полночи дошли и ждали,  
Но грудь зарытые в снегу.  
Огни далёкие бежали  
На том, на русском берегу...

Теперь я сознаюсь в обмане:  
Готовясь умереть в бою,  
Я всё-таки с собой в кармане  
Нёс фотографию твою.

Она под северным сияньем  
В ту ночь казалась голубой,  
Казалось, что сейчас мы встанем  
И об руку пойдём с тобой.

Казалось, в том же платье белом,  
Как в летний день снята была,  
Ты по камням обледенелым  
Со мной невидимо прошла.

За смелость не прося прощенья,  
Клянусь, что если доживу,  
Ту ночь я ночью обрученья  
С тобою вместе назову.

1941

\* \* \*

Когда на выжженном плато  
Лежал я под стеной огня,  
Я думал: слава богу, что  
Ты так далёко от меня,  
Что ты не слышишь этот гром,  
Что ты не видишь этот ад,  
Что где-то в городе другом  
Есть тихий дом и тихий сад.  
Что вместо камня — там вода,  
А вместо грома — клёнов тень,  
И что со мною никогда  
Ты не разделишь этот день.

Но стоит встретиться с тобой,  
И я хочу, чтоб каждый день,  
Чтоб каждый час и каждый бой  
За мной ходила ты, как тень.  
Чтоб ты со мной делила хлеб,  
Делила горести до слёз,

Чтоб слепла ты, когда я слеп,  
Чтоб мёрзла ты, когда я мёрз,  
Чтоб страхом был твоим — мой страх,  
Чтоб гневом был твоим — мой гнев.  
Мой голос на твоих губах —  
Чтоб был, едва с моих слетев.

Чтоб не сказали мне друзья,  
Всё разделявшие в судьбе:  
«С тобой была не она, а я,  
Что эта женщина тебе?  
Ведь не она с тобой была  
В тот день в атаке и пальбе,  
Ведь не она тебя спасла,—  
Что эта женщина тебе?  
Зачем теперь всё с ней да с ней,  
Как будто, в горе и беде  
Всех заменив тебе друзей,  
Она с тобой была везде?»

Чтоб я друзьям ответить мог:  
«Да, ты не видел, как она  
Лежала, съёжившись в комок,  
Там, где огонь был, как стена.  
Да, ты забыл, она была  
Со мной три самых чёрных дня,  
Она тебе там помогла,  
Когда ты вытащил меня.

И за спасение моё,  
Когда я шел с тобой вдвоём,  
Она — ты не видал её —  
Сидела третьей за столом.

1942

\* \* \*

Твой голос поймал я в Смоленске,  
Но мне, как всегда, не везло,—  
Из тысячи слов твоих женских  
Услышал я только: алло!

Рвалась телефонная нитка  
На слове три раза подряд.  
Оглохшая телефонистка  
Устало сказала: «Бомбят».

А дальше летели недели,  
И так получилось само —  
Когда мы под Оршей сидели,  
Тебе сочинил я письмо.

В нём много написано было,  
Теперь и не вспомнишь всего.  
Ты б, верно, меня полюбила,  
Когда б получила его.

В ночи под глухим Могилёвом,—  
Уж так получилось само,  
Иначе не мог я,—ну, словом,  
Пришлось разорвать мне письмо.

Всего, что пережито было  
В ту ночь, ты и знать не могла.  
А, верно, меня б полюбила,  
Когда бы там рядом была.

Но рядом тебя не случилось,  
И порвано было письмо,  
И всё, что могло быть,—забылось,  
Уж так получилось само.

Парочно писать ведь не будешь,  
Раз горький затеялся спор;  
Меня до сих пор ты не любишь,  
А я не пишу до сих пор.

1942

\* \* \*

Пусть прокляну впоследствии  
Твои черты лица,—  
Любовь к тебе — как бедствие,  
И нет ему конца.  
Нет друга, нет товарища,  
Чтоб среди бела дня  
Из этого пожарища  
Мог вытащить меня.  
Отчаявшись в спасении  
И бредя паяву,  
Как при землетрясении  
Я при тебе живу.  
Когда ж от наваждения  
Себя освобожу,  
В ответ на осуждение  
Я про тебя скажу:  
Зачем считать грехи её?  
Ведь не добра, не зла,

Не женщиной — стихиею  
Вблизи она прошла.  
И, грозный шаг слыша, я  
Пошёл грозу встречать,  
Не став, как все, под крышею  
Её переждать.

1942

\* \* \*

Не раз видал, как умирали  
В боях товарищи мои,  
Я утверждаю: не витали  
Над ними образы ничьи.

На небе среди дымов сраженья,  
Над полем смерти до сих пор  
Ни разу женского виденья  
Нежданно мой не встретил взор.

И в миг кровавого тумана,  
Когда товарищ умирал,  
Воздушною рукою раны  
Ему никто не врачевал.

Когда он с жизнью расставался,  
Кругом него был воздух пуст,  
И образ нежный не касался  
Губами холодевших уст.

И если даже с тайной силой  
Вдали, в предчувствиях, в тоске,  
Она в тот миг шептала: «Милый...»  
На скорбном женском языке,

Он не увидел это слово  
Па милых дрогнувших губах.  
Всё было дымно и багрово  
В последний миг в его глазах.

. . . . .

Со мной прощаясь на рассвете,  
Перед отъездом раз и два  
Ты повтори мне все на свете,  
Все бабьи жадные слова.

Я, как скупец, возьму с собою  
Звук слов твоих, вкус губ твоих,—  
Пускай не лгут. На поле боя  
Ничто мне не напомнит их.

1943

\* \* \*

Когда нисходит благодать,  
И той, что рядом,  
Уж больше нечего отдать  
Душой иль взглядом;

Когда ей что б ни подарить,  
Хоть страсть, хоть муку,—  
Как из руки переложить  
В другую руку;

Когда на боль обречь её  
Иль на мученье,—  
Как в зеркале толкнуть своё  
Изображенье;

Когда хоть тенью упрекнуть,  
Её всю в белом,—  
Как самого себя швырнуть  
На камни телом;

Когда на казнь её отдать  
Молве-трёххвостке,—  
Как самого себя распять  
На перекрёстке;

Когда отречься от неё  
В тоске иль в страхе,—  
Как тело тёплое своё  
Сложить на плахе,—

Её, что в нищете твоей  
Одна виною,  
Отдав ей всё — взамен своей  
Зови женою.

1944

\* \* \*

И этот год ты встретишь без меня.  
Когда бы ты почувствовать сумела,  
Когда бы знала ты, как я люблю тебя,  
Ко мне бы ты на крыльях прилетела.  
Отныне были б мы вдвоём везде,  
Метель твоим бы голосом мне пела,  
И отраженьем в ледяной воде  
Твоё лицо бы на меня смотрело.  
Когда бы знала ты, как я тебя люблю,  
Ты б надо мной всю ночь, до пробужденья,  
Стояла б тут, в землянке, где я сплю,  
Одну себя пуская в сновиденья.  
Когда б одною силою любви  
Мог наши души поселить я рядом,  
Твоей душе сказать: приходи, живи,  
Бесплотна будь, будь недоступна взглядам,  
Но ни на шаг не покидай меня,  
Лишь мне понятным будь напоминаем:

В костре — неясным трепетом огня,  
В метели — снега голубым порханьем.  
Незримая, сама смотри, как я пишу  
Листки своих ночных нелепых писем,  
Как я слова беспомощно ищ<sup>у</sup>,  
Как нестерпимо я от них зависим.  
Я здесь ни с кем тоской делиться не хочу,  
Своё ты редко здесь услышишь имя.  
Но если я молчу — я о тебе молчу,  
И воздух населён весь лицами твоими;  
Они кругом меня, куда ни кинусь я,  
Всё ты в мои глаза глядишь неутомимо.  
Да, ты бы поняла, как я люблю тебя,  
Когда б хоть день со мной тут прожила незримо.  
Но ты и этот год встречаешь без меня...

\* \* \*

Был у меня хороший друг,—  
Куда уж лучше быть, —  
Но всё, бывало, недосуг  
Нам с ним поговорить.

То уезжает он, то я,  
Что сделаешь — война...  
Где постоянные друзья —  
Там дружба не видна.

Такой не станет слёзы лить,  
Что не видал давно,  
При всех не будет громко пить  
Он за меня вино.

И на пирушке за столом  
Не расцелует вдруг...  
Откуда ж знать тебе о нём,  
Что он мой лучший друг?

Что с ним видали мы беду  
И расквитались с ней,  
Что с ним бывали мы в аду?  
А рай — не для друзей.

Но встретится в Москве со мной —  
Весь разговор наш с ним:  
— Ещё живой? — Пока живой. —  
Когда же посидим?

Опять не можешь, чортов сын,  
Совсем забыл друзей.  
Шучу, шучу, ведь я один,  
А ты, наверно, к ней.

К ней? Может, завтра среди дня  
Зайду к вам. Или нет,  
Вам хорошо и без меня,  
Передавай привет.

А впрочем, и привет не шли,  
С тобою на войне  
Мы спелись от неё вдали,  
Где ж знать ей обо мне?

Да, ты не знаешь про него  
Почти что ничего,  
Ни слов его, ни дел его,  
Ни верности его.

Но он, он знает о тебе  
Всех больше и верней,  
Чем стать могла в моей судьбе  
И чем не стала в ней.

Всех мук и ревностей моих  
Лишь он свидетель был,  
И, правду говоря, за них  
Тебя он не любил.

Но он меня не осудил,  
Когда, забыв о нём,  
Я, всё узнав, опять ходил  
К тебе играть с огнём.

И если бы из боя он  
Один пришёл домой,  
Он всё равно б мой медальон  
Принёс тебе одной.

. . . . .

Был у меня хороший друг, —  
Куда уж лучше быть, —  
Да всё, бывало, недосуг  
Нам с дим поговорить.

Теперь мне есть досуг навек  
О нём жалеть, скорбя.  
Он был хороший человек,  
Хоть не любил тебя.

Давай же помянем о нём  
Теперь с тобой вдвоём  
И горькие слова запьём,  
Как он любил, вином.

Тем самым, что он мне пришёс,  
Когда недавно был.

Ну и не надо слёз. Он слёз  
При жизни не любил

1942

## ХОЗЯЙКА ДОМА

Подписан будет мир, и вдруг к тебе домой,  
К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча,  
Как в дни войны, придут слуга покорный твой  
И все его друзья, кто будет жив к той ночи.  
Хочу, чтоб ты и в эту ночь была  
Опять той женщиной, вокруг которой  
Мы изредка сходились у стола  
Перед окном с бумажной синей шторой.  
Басы зениток за окном слышны,  
А радиола старый вальс играет,  
И все в тебя немножко влюблены,  
И половина завтра уезжает.  
Уже шинель в руках, уж третий час,  
И вдруг опять стихи тебе читают,  
И одного из бывших в прошлый раз  
С мужской ворчливой скорбью вспоминают.  
Нет, я не ревновал в те вечера,  
Лишь ты могла разгладить их морщины.

Так краток вечер, и пора! пора! —  
Трубят внизу военные машины.

С тобой наш молчаливый уговор —  
Я выходил, как равный, в непогоду,  
Пересекал со всеми зимний двор  
И возвращался после их ухода.  
И даже пусть догадливы друзья, —  
Так было лучше, это б нам мешало.  
Ты в эти вечера была ничья.  
Как ты права, что прав меня лишала!  
Не мне судить, плоха ли, хороша,  
Но в эти дни лишения и разлуки  
Лишь ты была та женская душа,  
Тот нежный голос, те девичьи руки,  
Которых так недоставало им,  
Когда они под утро уезжали  
Под Ржев, под Харьков, под Калугу, в Крым.  
Им девушки платками не махали,  
И трубы им не веля, и жена  
Далеко где-то ничего не знала.  
А утром неотступная война  
Их вновь в свои объятья принимала.  
В последний час перед отъездом ты  
Для них вдруг становилась всем на свете,  
Ты и не знала страшной высоты,  
Куда взлетала ты в минуты эти.  
Быть может, не любимая совсем,

Лишь для меня красавица и чудо,  
Перед отъездом ты была им тем,  
За что мужчины примут смерть повсюду:  
Сияньем женским, девочкой, женой,  
Невестой — всем, что уступить не в силах,  
Мы умираем, заслонив собой  
Вас, женщин, вас, беспомощных и милых.  
Знакомый с детства простенький мотив,  
Улыбка женщины, — как много и как мало...  
Как ты была права, что, проводив,  
При всех мне только руку пожимала.

. . . . .

По вот наступит мир, и вдруг к тебе домой,  
К двенадцати часам, шутя, смеясь, пророча,  
Как в дни войны, придут слуга покорный твой  
И все его друзья, кто будет жив к той ночи.  
Они придут ещё в шинелях и ремнях  
И будут долго их снимать в передней, —  
Ещё вчера война, ещё всего на-днях  
Был ими похоронен тот, последний,  
О ком ты спросишь: «Что ж он не пришёл?»  
И сразу оборвутся разговоры,  
И все заметят, как широк им стол,  
И станут про себя считать приборы.  
А ты, с тоской перехватив их взгляд,  
За лишние приборы в оправданье,  
Шепнёшь: «Я думала, что кто-то из ребят

Издадека придет к опозданием...»  
Но мы не станем спорить, мы смолчим,  
Что все, кто жив, пришли, а те, что опоздали,  
Так далеко уехали, что им  
На эту землю уж поспеть едва ли.

Ну, что же, сядем, сколько нас всего?  
Два, три, четыре... Стулья ближе сдвинем,  
За тех, кто опоздал на торжество,  
С хозяйкой дома первый тост поднимем.  
Но если опоздать случится мне,  
И ты, меня коря за опоздание,  
Услышишь вдруг, как кто-то в тишине  
Шепнёт, что бесполезно ожидание,—  
Не отменяй с друзьями торжество.  
Что из того, что всех тебе я ближе,  
Что из того, что я любил, что из того,  
Что глаз твоих я больше не увижу?  
Мы собирались здесь как равные, потом  
Вдвоём, ты только мне была дана судьбою,  
Но здесь, за этим дружеским столом,  
Мы были все равны перед тобою.  
Потом ты можешь помнить обо мне,  
Потом ты можешь плакать, если надо,  
И, встав к окну в холодной простыне,  
Просить у одиночества пощады.  
Но здесь не смей слезами и тоской  
По мне по одному лишать последней чести

Всех тех, кто вместе уезжал со мной  
И кто со мною не вернулся вместе.

Поставь же нам стаканы заодно  
Со всеми! Мы ещё придём неожиданно.  
Пусть кто-нибудь живой нальёт вино  
Нам в наши молчаливые стаканы.  
Ещё вы трезвы. Не пришла пора  
Нам приходить, но мы уже в дороге,  
Уж била полночь... Пейте до утра!  
Мы будем ждать рассвета на пороге.  
Кто лгал, что я на праздник не пришёл?  
Мы здесь уже. Когда все будут пьяны,  
Бесшумно к вам подсядем мы за стол  
И сдвинем за живых бесшумные стаканы.

1942

# **ИЗ ПЕРВЫХ КНИГ**

\* \* \*

Всю жизнь любил он рисовать войну.  
Беззвёздной ночью наскочив на мину,  
Он вместе с кораблём пошёл ко дну,  
Не дописав последнюю картину.

Всю жизнь лечиться люди шли к нему,  
Всю жизнь он смерть преследовал жестоко  
И умер, сам привив себе чуму,  
Последний опыт кончив раньше срока.

Всю жизнь привык он пробовать сердца.  
Начав ещё мальчишкой с «Ньюпора»,  
Он в сорок лет разбился, до конца  
Не испытал последнего мотора.

Никак не можем помириться с тем,  
Что люди умирают не в постели,  
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,  
Не долечив, не долетев до цели.

Как будто есть последние дела,  
Как будто можно, кончив все заботы,  
В кругу семьи усесться у стола  
И отдыхать под старость от работы...

1939

## СТАРИК

*Памяти Амундсена*

Весь дом проконопачен прочно,  
Как корабельное сухое дно,  
И в кабинете круглое нарочно  
На океан прорублено окно.

Тут всё кругом привычное, морское,  
Такое, чтобы, вставши на причал,  
Свой переход к свирепому покою  
Хозяин дома реже замечал.

Он стар. Под старость странствия опасны,  
Король ему назначил пенсию.  
И с кораблём на этот раз согласны  
Его шофёр, кухарка, почтальон.

Следят, чтоб ночью угли не потухли,  
И сплетничают разным докторам,  
И по утрам подогревают туфли,  
И пива не дают по вечерам.

Все подвиги его давно известны,  
К бессмертной славе он приговорён.  
И ни одной душе не интересно,  
Что этой славой недоволен он.

Она не стоит одного ночлега  
Под спальным, шерстью пахнущим мешком,  
Одной щепотки тающего снега,  
Одной затяжки крепким табаком.

Ночь напролёт ревет камин в столовой,  
И, кочергой помешивая в нём,  
Хозяин, как орёл белоголовый,  
Нахохлившись, сидит перед огнём.

Но радио всю ночь бюро погоды  
Предупреждает, что кругом шторма,—  
Пускай в портах швартуют пароходы  
И запирают накрепко дома.

В разрядах молний слышимость всё глуше,  
И вдруг из тыщевёрстной темноты  
Предсмертный крик: «Спасите наши души!»  
И градусы примерной широты.

В шкафу висят забытые одежды:  
Комбинезоны, спальные мешки...  
Он никогда бы не подумал прежде,  
Что могут так заржаветь все крючки...

Как трудно их застѣгивать с отвычки,  
Дождь бѣт по стѣклам мокрою листвою,  
В резиновый карман табак и спички,  
Револьвер — в задний, компас — в боковой.

Уже с огнём забегали по дому,  
Но, заревев и прыгнув из ворот,  
Машина по пути к аэродрому  
Давно ушла за первый поворот.

В лесу дубы, как вымокшие свечи,  
Пад головой сгибаются, треща,  
И дождь, ломаясь на лету о плечи,  
Стекает в чёрный капюшон плаща.

. . . . .  
Под осень, накануне ледостава,  
Рыбачий бот, уйдя на промысла,  
Пашёл кусок его бессмертной славы —  
Обломок обгоревшего крыла.

## ИЗГНАНИК

*Испанским республиканцем*

Нет больше родины. Нет неба, нет земли.  
Нет хлеба. Нет воды. Всё взято.  
Земля. Он даже не успел в слезах, в пыли  
Принасть к ней пересохшим ртом солдата.

Чужое море билось за кормой,  
В чужое небо пену воли швыряя,  
Чужие люди ехали «домой»,  
Над ухом это слово повторяя.

Он знал язык. Его жалели вслух  
За костыли и за потёртый ранец,  
А он, к несчастью, не был глух,  
Бездомная собака, иностранец.

Он высадился в Лондоне. Семь дней  
Искал он комнату. Ещё бы!  
Ведь он искал такой чердак, чтоб был бедней  
Последней лондонской трущобы.

И, наконец, нашёл. В нём потолки текли,  
На плитах пола промокали туфли,  
Он на ночь у стены поставил костыли —  
Они к утру от сырости разбухли.

Два раза в день спускался он в подвал  
И медленно, скрывая нетерпенье,  
Ел чёрствый здепный хлеб и запивал  
Вонючим пивом за два пенни.

Он по ночам смотрел на потолок  
И удивился, ничего не слыша.  
Где «Юнкерсы», где неба чёрный клочок  
И звёзды сквозь разодранную крышу?

На третий месяц здесь, на чердаке,  
Его нашёл старик, прибывший с юга.  
Старик был в штатском платье, в котелке, —  
Они едва смогли узнать друг друга.

Старик спешил. Он выложил на стол  
Приказ и деньги — это означало,  
Что первый час отчаянья прошёл,  
Пора домой, чтоб всё начать сначала.

Но он не может. — Слышишь, не могу, —  
Он показал на раненую ногу.  
Старик молчал. — Ей-богу, я не лгу,  
Я должен отдохнуть ещё немного.

Старик молчал.—Ещё хоть месяц так,  
А там—пускай опять штыки, застенки, мавры.  
Старик с улыбкой расстегнул пиджак  
И вынул из кармана ветку лавра.

Три лавровых листка. Кто он такой,  
Чтоб забывать на родину дорогу?  
Он их смотрел на свет. Он гладил их рукой.  
Губами осторожно трогал.

Как он успел забыть? Три лавровых листка.  
Что может быть прочней и проще?  
Не всё ещё потеряно, пока  
Там не завяли лавровые роши.

Он в полночь выехал. Как родина близка,  
Как долго пароход идёт в тумане...

.....  
Когда он был убит, три лавровых листка  
Среди бумаг нашли в его кармане.

## ГЕНЕРАЛ

*Памяти Матэ Залка*

В горах этой ночью прохладно.  
В разведке намаявшись днём,  
Он греет холодные руки  
Над жёлтым походным огнём.

В кофейнике кофе клокочет,  
Солдаты усталые спят.  
Над ним арагонские лавры  
Тяжёлой листвою шелестят.

И кажется вдруг генералу,  
Что это зелёной листвою  
Родные венгерские липы  
Шумят над его головой.

Давно уж он в Венгрии не был,  
С тех пор, как попал на войну,  
С тех пор, как он стал коммунистом  
В далёком сибирском плену.

Он знал уже грохот тачанок  
И дважды был ранен, когда  
На запад, к горячей огчизне  
Мадьяр повезли поезда.

Зачем в Будапешт он вернулся?  
Чтоб драться за каждую пядь,  
Чтоб плакать, чтоб, стиснувши зубы,  
Бежать за границу опять.

Он этот приезд не считает,  
Он помнит все эти года,  
Что должен задолго до смерти  
Вернуться домой навсегда.

С тех пор он повсюду воюет:  
Он в Гамбурге был под огнём,  
В Чапее о нём говорили,  
В Хараме слышали о нём.

Давно уж он в Венгрии не был.  
Но где бы он ни был, над ним  
Венгерское синее небо,  
Венгерская почва под ним.

Венгерское красное знамя  
Его выручает в бою.  
И, где б он ни бился, он всюду  
За Венгрию бьётся свою.

Недавно в Москве говорили,—  
Я слышал от многих,—что он  
Осколком немецкой гранаты  
В бою под Уэской сражён.

Но я никому не поверю:  
Он должен ещё воевать,  
Он должен в своём Будапеште  
До смерти ещё побывать.

Пока ещё в небе испанском  
Германские птицы видны,  
Не верьте: ни письма, ни слухи  
О смерти его неверны.

Он жив. Он сейчас под Уэской.  
Солдаты усталые снят.  
Над ним арагонские лавры  
Тяжёлой листвою шелестят.

И кажется вдруг генералу,  
Что это зелёной листвою  
Родные венгерские лица  
Шумят над его головой.

## МУРМАНСКИЕ ДНЕВНИКИ

У окружкома на виду  
Висела карта. Там на льду  
С утра в кочующий кружок  
Втыкали маленький флажок.  
Гостиница полным-полна.  
Портье метались дотемна,  
Распределяя номера.  
Швейцары с заднего двора  
Наверх тянули тюфяки.  
За ними на второй этаж,  
Стащив замёрзшие очки,  
Влезал воздушный экипаж.  
Пилоты сутки шли впопыхах,  
Они давно отвыкли спать,  
Им было страшно, что в домах  
Есть лампа, печка и кровать.  
Да, прямо скажем, этот край  
Нельзя назвать дорогой в рай.

Здесь жёстко спать, здесь трудно жить,  
Здесь можно голову сложить.  
Здесь, приступив к любым делам,  
Мы мир делили пополам:  
Врагов встречаешь—уничтожь,  
Друзей встречаешь—поделись.  
Мы здесь любили и дрались,  
Мы здесь страдали. Ну, и что ж?  
Не на кисельных берегах  
Рождалось мужество. Как мы,  
Оно в дырявых сапогах  
Шло с Печеньги до Муксомы.  
У окружкома на виду  
Большая карта. Там на льду,  
В том самом месте, где в кружок  
Воткнули маленький флажок,  
Там, где, мозоля нам глаза,  
Легла на глобус бирюза,  
На деле там черным-черно,  
Там солнца не было давно,  
За тыщу вёрст среди глубин  
На льду темнеет бивуак.  
Но там, где четверо мужчин  
И на древке советский флаг,  
Там можно встать к руке рука,  
Касаясь спинами древка,  
И, как испытанный сигнал,  
Запеть «Интернационал».

Пусть будет голос хрипл и груб,  
Пускай с растрескавшихся губ  
Слетает песня чуть слышна—  
Её и так поймёт страна.  
Гостиница полным-полна.  
Над низкой бухтою туман,  
Девятибальная волна  
Ревёт у входа в океан.  
К Ял-Майнену, оставив порт,  
В свирепый шторм ушли суда.  
Семисаженная вода  
Перелетает через борт.  
Бушует норд. Вчера Москва  
Послала дирижабль. Ни зги!  
По радио, сквозь вой пурги,  
Едва доносятся слова.  
Бушует норд. Радиет в углу,  
Охрипнув, кроет целый мир;  
Он разгребает, как золу,  
Остывший и пустой эфир.  
Где дирижабль? Стряслась беда...  
Бушует норд. В двустах верстах  
Был слышен взрыв. Сейчас туда  
Отправлен экстренный состав.  
За эту ночь ещё пришло  
Два самолёта. Не до сна.  
Весь округом не спит. Светло,  
Гостиница полным-полна.

Сегодня в восемь пять утра  
Нашли разбившихся. В дугу  
Согнулся остов. На снегу  
Живые грелись у костра.  
Был выполнен военный долг,  
В гробы положены тела.  
Их до ближайшего села  
Сопровождает местный полк.  
Другим летели помогать—  
Погибли сами. Чтоб не лгать—  
Удар тяжёл. Но на земле  
Есть племя храбрых. Говорят,  
Что в ту же ночь другой отряд  
Ушёл на новом корабле.  
У окружкома на виду  
Большая карта. Там на льду  
С утра в кочующий кружок  
Втыкают маленький флажок.  
Всю ночь с винтовкой, как всегда,  
Вдоль рейда ходит часовой.  
Тут ждут ледовые суда  
В готовности двухчасовой.  
До кромки льда пять дней пути.  
Крепчает норд. Ещё в порту,  
Товарищ, крепче прикрути  
Всё, что нетвёрдо на борту.  
Поближе к топкам и котлам  
Всю ночь механики стоят.

Всю ночь шторма,—быть может, нам  
Большие жертвы предстоят.  
В больницу привезён пилот,  
Он весь один сплошной ожог,  
Лишь от бровей—глаза и рот—  
Незабинтованный кружок.  
Он говорит с трудом:—Когда  
Стряслась с гондолою беда,  
Когда в кабине свет погас,  
Я стал наощупь шарить газ,  
Меня швырнуло по борту.  
Где ручка газа? Кровь во рту.  
Об радиатор. Об углы.  
Об потолки и об полы.  
Где ручка? На десятый раз  
Я выключил проклятый газ.  
Наирасный труд! Сквозь верхний люк  
Врывалось пламя. Через щель  
Внизу я видел снег и ель.  
Тогда, сдирая кожу с рук,  
Я вылез вниз. Кругом меня  
Свистало зарево огня.  
Я в снег зарылся с головой,  
Не чувствуя ни рук ни ног,  
Я полз по снегу, чуть живой,  
Трясаясь от боли, как щенок.  
Меня перенесли к костру.  
Нас всех в живых осталось шесть.

Всем было скверно. Лишь к утру  
Мы захотели спать и есть.  
Обломки тлели. Тишина.  
Лишь изредка в полночный мрак  
Взлетал нагретый докрасна  
Какой-нибудь запасный бак.  
Всю ночь нас пробирала дрожь.  
Нам было всем, как острый нож,  
Смотреть туда, где на снегу  
Тлел остов, выгнутый в дугу.  
Забыв на миг свою беду,  
Мы представляли, что на льду,  
Вот так же сидя, как и мы,  
К огню придвинувши пимы,  
Четыре наших парня ждут,  
Когда им помощь подадут.  
Нам холодно. Им холодней.  
Они сидят там много дней.  
Уже кончается зима.  
А где же мы! Вода кругом...  
Чтоб не сойти совсем с ума,  
Нам надо думать о другом.  
Что ж, о другом, так о другом!  
Давай о самом дорогом.  
Но что ж и мне, и всем другим  
Казалось самым дорогим?  
— Вот так же сидя, как и мы,  
К огню придвинувши пимы,

Четыре парня молча ждут,  
Когда им помощь подадут...—  
Ночь. На кровати лётчик спит.  
Сестра всю ночь над ним сидит.  
Он беспокойный, он такой—  
Он может встать. Да что покой?  
Как может предписать покой  
Тот врач, который в свой черёд  
С утра дрожащею рукой  
Газету в ящичке берёт?  
На старой, милой нам земле  
Есть много мужества. Оно  
Не в холе, воле и тепле,  
Не в колыбели рождено.  
Лишь мещанин придумать мог  
Мир без страстей и без тревог:  
Не только к звукам арф и лир  
Мы будем приучать детей.  
Мир коммунизма—дерзкий мир  
Больших желаний и страстей.  
Где пограничные столбы —  
Там встанут клёны и дубы.  
Но яростней, чем до сих пор,  
Затеют внуки день за днём  
Жестокий спор, кровавый спор  
С водой, землею и огнём.  
Чтоб все стихии нам взнуздать,  
Чтоб все оковы расковать,

Придётся холодать, страдать,  
Быть может, жизнью рисковать.  
На талом льду за тыщу вёрст,  
Где снег колюч и ветер чёрств,  
Четыре наших парня ждут,  
Когда им помощь подадут.  
Есть в звуке твёрдых их имён,  
В чертах тревожной их судьбы  
Начало завтрашних времён,  
Прообраз будущей борьбы.  
Я вижу: где-то вдалеке,  
На льду, на утлом островке,  
На стратоплане, на луне,  
В опасности, спиной к спине,  
Одежду, хлеб и кров деля,  
Горсть земляков подмоги ждёт,  
И вся Союзная земля  
К своим на выручку идёт.  
И на флагштоках всех судов  
Плывёт вперёд сквозь снег и мрак,  
Сквозь стаи туч, сквозь горы льдов  
Земного шара гордый флаг.

## МАЛЬЧИК

Когда твоя тяжёлая машина  
Пошла к земле, ломаясь и гремя,  
И чёрный столб взбешённого бензина  
Поднялся над кабиною стоймя,—  
Сжимая руль в огне последней всышки,  
Разбитый и притиснутый к земле,  
Ты ничего не вспомнил о мальчишке,  
Который жил в Клину или в Орле.  
Как ты, не знал он головокруженья,  
Как ты, он был упрям, драчлив и смел,  
Он самое прямое отношенье  
К тебе, в тот день погибшему, имел.

Пятнадцать лет он медленно и твёрдо  
Лез в небеса, упрямо сжав штурвал,  
И все тобой не взятые рекорды  
Он дерзкою рукой завоевал.  
Когда его тяжёлая машина  
Перед посадкой встала на дыбы,

И, как жестянка, сплющилась кабина,  
Задев за телеграфные столбы,—  
Сжимаемая руль в огне последней вспышки,  
Придавленный к обугленной траве,  
Конечно, он не вспомнил о мальчишке,  
Который рос в Твери или в Москве...

Когда уже известно, что в газетах  
Назавтра будет чёрная кайма,  
Мне хочется, поднявшись до рассвета,  
Врываться в незнакомые дома,  
Искать ту неизвестную квартиру,  
Где спит, уже витая в облаках,  
Мальчишка, рыжий, маленький задира,  
Весь в ссадинах, веснушках, синяках.

1939

## Д Р У Ж Б А

Недавно тост я слышал на пиру,  
И вот он здесь записан на бумагу,—  
Не так, как томада его сказал,  
А так, как я его, прославшись, вспомнил:  
«Мы умираем в четырёх стенах,  
Вдыхая запах камфары и йода,  
Но та же, что и дедам и отцам,  
Нам снится всем последняя дорога.  
Я шёл по ней без хлеба, без огня,  
Кругом качалась белая равнина,  
Присевшие на корточки холмы  
На согнутых хребтах держали небо.  
Я шёл по ней; весь день я не видал  
Ни дыма, ни жилья, ни перекрёстка,  
Торчали вместо верстовых столбов  
Могильные обломанные плиты.  
Я надписи истлевшие читал.  
Здесь были похоронены младенцы,  
По две недели от роду, по три,

Умершие, едва успев родиться.  
К полуночи я встретил старика.  
Седой, как лунь, сидел он у дороги  
И дил из рога чёрное вино,  
Пахучим козьим сыром заеда.

— Скажи, отец,—спросил я у него,—  
Ты сыр жуёшь, ты пьёшь вино из рога,  
Как дожил ты до старости такой  
Здесь, где никто не доживал до года?—  
Старик, погладив мокрые усы,  
Сказал:—Ты ошибаешься, прохожий,  
Здесь до глубокой старости живут,  
Здесь сверстники мои лежат в могилах.  
Ты надписи неправильно прочёл—  
У нас другое летоисчисленье:  
Мы измеряем, долго ли ты жил,  
Не днями жизни, а часами дружбы».

И томада поднялся над столом:

— Так выпьем же, друзья, за годы дружбы!—  
Но мы молчали. Если так считать,  
Мы все боялись не дожить до года.

1939

\* \* \*

*М. Матусовскому*

— Что ты затосковал?

— Она ушла.

— Кто?

— Женщина.

И не вернётся,

Не сядет рядом у стола,

Не разольёт нам чай, не улыбнётся.

Пока я не нашёл её следа —

Ни есть, ни спать спокойно не могу я...

— Брось тосковать.

Что за беда?

Поищем и найдём другую.

.....  
— Что ты затосковал?

— Она ушла.

— Кто?

— Муза.

Всё сидела рядом.

И вдруг ушла, и даже не могла  
Предупредить хоть словом или взглядом.  
Что ни пишу с тех пор— всё бестолочь, вода,  
Чернильные расплывшиеся пятна...

— Брось тосковать.

Что за беда?

Догоним, приведём обратно.

.....  
— Что ты затосковал?

— Да так...

Вот фотография прибита косо.

Дождь на дворе,

Забыл купить табак;

Обшарил стол—нигде ни папиросы.

Ни день, ни ночь,

Какой-то средний час.

И скучно — и не знаю, что такое...

— Ну что ж, тоскуй.

На этот раз

Ты пойман настоящею тоскою.

1939

\* \* \*

Я, наконец, приехал на Кавказ.  
И моему неопытному взору  
В далёкой дымке в первый раз  
Видны сто раз описанные горы.  
Но где я раньше видел эти две  
Под самым небом сросшихся вершины,  
Седины льдов на старой голове,  
И тень лесов, и ледников плешины?  
Я твёрдо помню — та же крутизна,  
И те же льды, и так же снег не тает.  
И разве только чёрного пятна  
Посередине где-то нехватает.  
Все те места, где я бывал, где рос,  
Я в памяти перебираю робко...  
И вдруг, соскучившись без папирос,  
Берусь за папиросную коробку.  
Так вот оно, пятно! На фоне синих гор,  
Пришпорив так, что не угнаться,

На чёрном скакуне во весь опор  
Летит джигит за три пятнадцать.  
Как жаль, что часто память в нас живёт  
Не о дорогах, тропках, полустанках,  
А о наклейках минеральных вод,  
О марках вин и о консервных банках...

1939

## ВАГОН

Есть у каждого вагона  
Свой тоннаж и габарит,  
И таблица непреклонно  
Нам об этом говорит.

Но в какие габариты  
Поместится груз людской,  
Если, заспаны, небриты,  
Люди едут день-денской?

Без усушки, без утруски  
Проезжают города,  
Море чаю пьют по-русски,  
Стопку водки иногда.

Много ездив по отчизне,  
Мы вагоном дорожим,  
Он в пути, подобно жизни,  
Бесконечно растяжим.

Вот ты влез на третью полку,  
Ты отбил себе клочок  
Там, где ехал втихомолку  
Слезший ночью старичок;

Коренное население  
Проявляет к тем, кто влез,—  
К молодому поколению,—  
Свой законный интерес,

А попутно с этим, если  
Были люди хороши,  
Тех, что ехали и слезли,  
Вспоминают от души.

Ты знакомишься случайно,  
Поделившись табаком,  
У соседа просишь чайник  
И бежишь за кипятком,

Ты чужих детей качаешь,  
Книжки почитать даёшь,  
Ты и сам не замечаешь,  
Как в дороге устаёшь.

Люди сходят понемногу,  
Сходят каждый перегон,  
Но, меняясь всю дорогу,  
Не пустеет твой вагон.

Ты давно уже не знаешь,  
Сколько лет в пути прожил,  
И соседей вспоминаешь,  
Как заправский старожил.

День темнеет. Дело к ночи.  
Скоро тот кусок пути,  
Где без лишних проволочек  
Предстоит тебе сойти.

Что ж, возьми пожитки в руки,  
По возможности без слёз,  
Слушай, высадившись, стук  
Улетающих колёс.

И надейся, что в вагоне  
Целых пять минут подряд  
На дорожном лексикопе  
О тебе поговорят,

Что, проездивший полвека,  
Непоседа и транжир,  
Всё ж хорошим человеком  
Был сошедший пассажир.

\* \* \*

Куда ни глянешь—без призора,  
Чуть от дороги шаг ступи,  
Солончаковые озёра,  
Как полотно, лежат в степи.

В степной жаре, как будто рядом,  
Их набелённые холсты.  
Отрежешь лишних две версты,  
Но ты, семь раз отмерив взглядом,

Пока до них дойдёшь усталый,  
И там, где ждал глотка воды,  
Найдёшь солёные кристаллы,  
Волн затвердевшие ряды.

Но рядом будет так похоже,  
Что там глубокая вода...  
Тебе придётся лезть из кожи,  
Чтоб как-нибудь попасть туда.

Ты час пройдёшь, и два и развё  
Под вечер, вымокший и злой,  
В конце концов найдёшь над грязью  
Воды в два пальца мутный слой.

А до глубокой, хоть по пояс,  
Так много вёрст ещё в пути,  
Что можно век, не беспокоясь,  
Всё по колено к ней брести.

Кто раз пошёл—себя жестоко  
Лишил покоя на земле,  
Где всё так близко и далёко,  
Почти как в нашем ремесле.

1939



Да, пускай улыбнётся. Она через силу должна,  
Чтоб надолго запомнить лицо её очень  
спокойным.

Как охранная грамота, эта улыбка нужна  
Всем, кто хочет привыкнуть к далёким дорогам  
и войнам.

Вот конверты, в пути пожелтевшие, как  
сувенир, —

Над почтовым вагоном семь раз изменялась  
погода, —

Шахматисты на почте играют заочный турнир,  
По два месяца ждут от партнёра ответного хода.

Надо просто запомнить глаза её, голос, пальто, —  
Всё, что любишь давно, пусть хоть даже ни за  
что ни про что,

Надо просто запомнить и больше уже ни на что  
Че ворчать, когда снова застрянет в распутицу  
почта.

И домой возвращаясь, считая все вздохи колёс,  
Чтоб с ума не сойти, сдав соседям себя на  
поруки,

Помнить это лицо без кровинки, зато и без слёз,  
Эту самую трудную маску спокойной разлуки.



## ДЕРЕВЬЯ

У нас была юрта с дырявой крышей,  
с поющим в щели сверчком.  
Мы сидели в ней в полдень  
и пили дымную воду  
с консервированным молоком.

Пятую ночь дует ветер с Хингана,  
наступают осенние дни...

— Я так давно не видал деревьев!  
Расскажи мне, какие они?

— Они очень, очень высокие,  
они выше этой травы,  
ни один двугорбый верблюд не дотянется  
до их шумящей листвы.

Листва!

Но я сам забыл её шелест,  
скитаясь по этим степям;  
большие и маленькие  
кусочки зелёного,  
прицепленные к ветвям...

Деревья—их не с чем здесь сравнить,  
они огромные, как облака,  
они зелёные, как монгольский закат,  
и шумные, как река.

А если их много,  
целая роща,  
зелёное море огня,  
зелёное утром,  
чёрное ночью,  
синее на исходе дня...—

Но, прервав наши речи на полуслове,  
грохот

донёсся из-за реки,  
как будто по очень глубоким ухабам  
проехали грузовики.

И сразу на жёлтом пустом горизонте,  
в мелкой степной пыли,  
круглая тёмносиняя роща  
выросла из-под земли.

Она выросла сразу.

Она выросла молча.

Она выросла, как стена.

Красивая тёмносиняя роща,  
синяя дочерна.

Ну что же, смотри на неё, любуйся,  
ты забыл здесь шелест листвы...

Но тот, кто давно не видел деревьев,  
не повернул головы,

Он только поглубже надвинул каску:  
— Весь день облака и ветра,  
опять эти роши на горизонте!  
Опять бомбёжки с утра.

1939

## ФОТОГРАФИЯ

Е. Л.

Я твоих фотографий в дорогу не брал:  
Всё равно и без них, если вспомним, приедем.  
На четвёртые сутки, давно переехав Урал,  
Я в тоске не показывал их любопытным соседям.

Никогда не забуду после боя палатку в тылу,  
Между сумками, саблями и термосами,  
В груди ржавых трофеев, на пыльном полу  
Фотографии женщин с мужими косыми глазами.

Они молча стояли у картонных домов для любви,  
У цветных абажуров с чёрным чортиком,  
с шёлковой рыбкой;  
И на всех фотографиях, даже на тех, что  
в крови,  
Снизу вверх улыбались запоздалой бумажной  
улыбкой.

Взяв из груди одну, равнодушно сказать—  
недурна,  
Уронить, чтоб опять из-под ног, улыбаясь,  
глядела.

Нет, не чёрствое сердце, а просто война,—  
До чужих сувениров нам не было дела.

Я не брал фотографий. В дороге на что они  
мне?

И опять не возьму их. А ты, не ревнуя,  
На минуту попробуй увидеть, хотя бы во сне,  
Пыльный пол под ногами, чужую палатку  
штабную...

## КУКЛА

Мы сняли куклу со штабной машины.  
Спасая жизнь, ссылаясь на войну,  
Три офицера—храбрые мужчины—  
Её в машине бросили одну.

Привязанная ниточкой за шею,  
Она, бежать отчаявшись давно,  
Смотрела на разбитые траншеи,  
Дрожа в своём холодном кимоно.

Земли и брёвен взорванные глыбы;  
Кто не был мёртв, тот был у нас в плену.  
В тот день они и женщину могли бы,  
Как эту куклу, бросить здесь одну...

Когда я вспоминаю поражение,  
Всю горечь их отчаянья и страх,  
Я вижу не воронки в три сажени,  
Не трупы на дымящихся кострах,—

Я вижу глаз её косые щёлки,  
Пучок волос, затянутый узлом,  
И вижу куклу на кручёном шёлке,  
Висящую за выбитым стеклом.

1939

## СВЕРЧОК

Мы довольно близко видели смерть  
и, пожалуй, сами могли умереть,  
мы ходили везде, где можно ходить,  
и смотрели на всё, на что можно смотреть.  
Мы влезали в окопы,  
пропахшие креозотом  
и пролитым в песок сакэ,  
где только что паши  
кололи тех  
и кровь не засохла ещё на штыке.  
Мы напрасно искали домашнюю жалость,  
забытую нами у очага,  
мы здесь привыкали,  
что быть убитым—  
входит в обязанности врага.  
Мы сначала взяли это на веру,

но вера вошла нам в кровь и плоть;  
мы так и писали:

«Если он не сдаётся—  
надо его заколоть!»

И, честное слово, нам ничего не снилось,  
когда, свернувшись в углу,  
мы дремали в летящей без фар машине  
или на твёрдом полу.

У нас была чистая совесть людей,  
посмотревших в глаза войне.

И мы слишком много видели днём,  
чтобы видеть ещё во сне.

Мы спали, как дети,  
с открытыми ртами,  
кое-как прикорнув на тычке...

Но я хотел рассказать не об этом.  
Я хотел рассказать о сверчке.

Сверчок жил у нас под самой крышей  
между войлоком и холстом.

Он был рыжий и толстый,  
с большими усами  
и кривым, как сабля, хвостом.

Он знал, когда петь и когда молчать,  
он не спутал бы никогда;  
он молча ползал в жаркие дни  
и грустно свистел в холода.

Мы хотели поближе его разглядеть  
и утром вынесли за порог,  
и он, как шофёр, растерялся, увидев  
сразу столько дорог.

Он удивлённо двигал усами,  
как и мы, он не знал, почему  
большой человек из соседней юрты  
подошёл вплотную к нему.

Я повторяю:

сверчок был толстый,  
с кривым, как сабля, хвостом,  
но всего его, маленького,  
можно было  
покрыть дубовым листом.

А сапог был большой—  
сорок третий номер,  
с гвоздями на каблуке,  
и мы не успели ещё подумать,  
как он стоял на сверчке.

Мы решили, что неприлично солдатам  
страдать от этого пустяка,  
и, воровато спрятав глаза,  
старались не видеть обломков сверчка.

Мы лживо и громко, как можно скорей,  
заговорили о чём-то другом,  
но человек из соседней юрты  
был молча объявлен нашим врагом.

Я, как в жизни, спутал в своём рассказе  
и важное и пустяки,  
но товарищи скажут,  
что всё это правда  
от первой до последней строки.

1939

## ТАНК

Вот здесь он шёл. Окопов три ряда.  
Цепь волчьих ям с дубовою щетиной.  
Вот след, где он попятился, когда  
Ему взорвали гусеницы миной.  
Но под рукою не было врача,  
И он привстал, от хромоты страдая,  
Разбитое железо волоча,  
На раненую ногу припадая.  
Вот здесь он, всё ломая, как таран,  
Кругами полз по собственному следу  
И рухнул, обессиленный от ран,  
Добыв пехоте трудную победу.

. . . . .  
Уже к рассвету, в копоты, в пыли,  
Пришли ещё дымящиеся танки.  
И сообща решили в глубь земли  
Зарыть его железные останки.  
Он словно не закапывать просил,

Ещё сквозь сон он видел бой вчерашний,  
Он упирался, он, что было сил,  
Ещё грозил своей разбитой башней.  
Чтоб видно было далеко окрест,  
Мы холм над ним насыпали могильный,  
Прибив звезду фанерную на шест,—  
Пад полем боя памятник посильный.

. . . . .  
Когда бы монумент велели мне  
Воздвигнуть всем погибшим здесь в пустыне,  
Я б на гранитной тёсаной стене  
Поставил танк с глазами пустыми;  
Я вкопал его бы, как он есть,  
В пробойнах, в листах железа рваных,—  
Невянущая воинская честь  
Есть в этих шрамах, в обгорелых ранах.  
На постамент взобравшись высоко,  
Пусть, как свидетель, подтвердит но праву:  
Да, нам далась победа нелегко.  
Да, враг был храбр. Тем больше наша слава.

Октябрь 1939. Халхин-Гол

*ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ*

**«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»**

## ПЕРВАЯ ГЛАВА

### 1

В пятнадцать лет — какие огорченья?  
Мальчишеские беды нам не в счёт;  
Сбежал из дому — попроси прощенья,  
Расстался с ней — до свадьбы заживёт.

Так повелось: сначала вспомним сами,  
И сразу насмех — разве не смешно,  
Что где-то за горами, за лесами  
Мы ключ от детства бросили давно?

Мы не спеша умнеем год за годом,  
Мы привыкаем к своему углу,  
Игрушкой с перекрученным заводом  
Спит наше детство где-то на полу.

Дай бог нам всем когда-нибудь, когда  
Мы заболеем старостью и грустью,  
На пять минут, забыв свои года,  
Увидеть юность в волжеком захолустьи.

В пятнадцать лет у каждого своё,  
Но взрослым нам всем поровну приснится  
Прощанье с детством, хитрый взгляд её  
Сквозь пехотя вспорхнувшие ресницы.

Подумать только, сколько лет назад,  
И всё-таки он с ясностью печальной  
Мог вспомнить тот, казалось им, прощальный,  
А в самом деле только первый взгляд.

Стоят на разных улицах фасады,  
Но в две ограды сдвинулись дворы,  
И с голубятни можно из засады  
Смотреть, как, чертыхаясь от жары,

Её отец пропальывает грядки,  
Как ходит мать, как целые часы  
Она сама, уткнувши нос в тетрадки,  
Мух отгоняет хвостиком косы.

И вдруг слетит с насиженного места  
И колесом пройдёт через двор.  
«Стыдись, Мария. Ты уже невеста,  
Пойди сюда», — и скучный разговор,

Который слушать для чего-то надо,  
Покорно ждать и, косу теребя,  
Смотреть, как тоже, не сдвигая взгляда,  
Чужой мальчишка смотрит на тебя.

Зимой, когда подсыпало снежка,  
В своей засаде сидя, то и дело  
Он видел, как она исподтишка  
Через забор в их сторону глядела.

Такого не бывало до сих пор,  
А впрочем, просто снег сгребали с крыши.  
В сугробах весь, чуть ниже стал забор,  
А может быть, и девочка чуть выше.

Весной с отцом и матерью она  
Уехала к своей родне за Волгой;  
И надо ж так совпасть, что вся весна  
Была в тот год дождливою и долгой.

Лениво голубей гонял шестом,  
Бог с нею, с этой голубиной славой,  
И по привычке на дворе пустом  
Всё ждал услышать голосок картавий.

И вдруг вернулась. Он и не узнал.  
Поближе разглядеть бы попроситься.  
Где детство — исцарапанный пенал,  
Босые ноги, платице из ситца?

По воскресеньям — женский гребешок,  
Чулочки вместо тёмной детской кожи  
И каблучки, пока всего с вершок,  
Ещё не как у матери, но всё же...

Ещё коса, но шпилек полон рот;  
У зеркала, от старших втихомолку,  
Сердито спрячет девочкину чёлку,  
В тяжёлый узел косу соберёт.

Ещё, спасибо, в городском саду  
Никто из взрослых не гуляет с нею.  
Что может быть бессильней и больнее,  
Чем ревность на шестнадцатом году?

Пусть даже ты немножко вырос тоже,  
Пускай ты на год старше и умней,  
Мы рядом с нею всё равно моложе,  
Нам очень впору позабыть о ней.

И вот вчера, как будто зная это,  
Её отец решил менять жильё.  
Возы скрипели, и, как хвост кометы,  
Летело сзади по ветру бельё.

Коробилась посуда жестяная,  
Шкафы вставали дыбом, как стена,  
И в старом детском ситчике, сквозная,  
С вещами рядом молча шла она.

Он не пошёл за нею. Очень надо!  
Весь день сидел волчонком, ждал отца,  
Чтоб, вдруг вспыхив от слова или взгляда,  
Стать, всем назло, несчастным до конца.

И к вечеру дождался — глухой спор,  
Сердитое лицо отца за чаем,  
И тот непоправимый разговор,  
Который мы не сразу замечаем.

Мать выбежала следом без платка,  
И он чутьём почувствовал сквозь слёзы —  
Морщинистая лёгкая рука  
Была сильнее, чем ссоры и угрозы.

Бог с ним, с отцом, но с матерью беда,  
Она не скажет — скатертью дорога,  
Послушаться её, так никогда  
Не переступишь этого порога.

Он даже обещал ей, на беду:  
Да, возвращусь, да, попрошу прощенья,  
Он руки целовал ей на ходу,  
Все в тесте от домашнего печенья.

Уже к потёмкам, в поисках ночёвки,  
Добрёл до чёрных волжских пристаней;  
Железный хлам, смолёные бечёвки,  
Далёкое движение огней.

Полуночные волжские лески,  
Весь в зарослях, весь в уголках укромных,  
Построенный посреди реки  
Почной приют влюблённых и бездомных.

В пятнадцать лет тут будет не до сна:  
Обрывки чьих-то жадных разговоров,  
Притворный вздох, и снова тишина,  
И платья задыхающийся шорох.

Как маленькие звери на песке,  
Лежат полузарытые ботинки,  
И наспех снятых блузок паутины  
Качаются на лёгком ивняке.

Был нами аист в девять лет забыт,  
Мы в десять взрослых слушать начинали,  
В тринадцать лет, пусть мать меня простит,  
Мы знали всё, хоть ничего не знали.

В пятнадцать лет томленье по утрам —  
До хруста кости выгнуть непременно.  
Заезжий цирк. Пристрастие к лошадям,  
К солёным, потным запахам арены.

Не девочка в тумане голубом,  
Не старенькое платьице из ситца, —  
Тут можно было в стену биться лбом,  
Не знать, чего ты хочешь, и беситься.

Он лёг ничком на выжженном песке.  
Высокая, спокойная, большая,  
Рукой небрежно ветки раздвигая,  
Босая женщина прошла к реке.

Закрыв глаза, он слушал, как кругами  
От сильных взмахов прыгает волна,  
Потом затихло. Лёгкими шагами  
С ним рядом вышла на берег она.

Пучок волос из-под косынки вылез.  
Он видел всё — припухлости у рта  
И пятнышко загара там, где вырез  
Кончался, как запретная черта.

Она сжимала волосы руками,  
В тяжёлый жгут согнув их пополам.  
Вода в песок сбегала ручейками  
По длинным, зябшим на ветру ногам.

Она, рассыпав волосы, лениво  
Закрыла ими грудь от ветерка,  
Всем телом наклонясь, неторопливо  
Комочек платья подняла с песка.

По платью надеваться не хотело,  
На нём темнели мокрые следы  
Там, где ещё невысохшее тело  
Всё было в мелких капельках воды.

Из-за кустов позвали: «Надя! Надя!»  
Откинув наспех волосы с лица,  
Пошла на голос, под юги не глядя,  
Не натянувши платья до конца.

Он вдруг устал от душевной темноты.  
На глубине за дальними песками  
На якорях стоявшие плоты  
Всю ночь ему моргали огоньками.

Стянув покрепче платье в узелок,  
Легко гребя свободною рукою,  
Поплыл к плотам и лёг на край досок  
Над чёрной, тихо шлёпавшей рекою.

Так низко проплывают облака,  
Что можно лёжа зацепить руками,  
На мачтах два зелёных огонька,  
Как лампочки, висят под облаками.

Сюда приедет через много лет  
Тот, кто в твоих мальчишеских тревогах  
Найдёт обратный позабытый след  
Всего, что растерял он на дорогах.

Он, с виду равнодушно, как прохожий,  
Весь город молча обойдёт пешком,  
Ни на кого из здешних не похожий,  
Он будет пахнуть крепким табаком.

Всё будет в нём бывалое, мужское,  
И слишком громкий одинокий смех,  
И даже то, как ловко он, рукою  
Прикрыв огонь, закурит без помех.

Он всё поймёт, он будет долго-долго  
Сидеть с тобой на берегу реки,  
Смотреть на расходившуюся Волгу,  
На пляшущие красные буйки.

Он с грустью вспомнит всё, что слишком скоро  
Пачнёт сбываться на твоём веку:  
И первых встреч ревнивые укоры,  
И лживых писем первую строку,

Все приступы раскаянья и желчи,  
Всё то, что ты ещё не знаешь сам.  
Шершавую мужской ладонью молча  
Он проведёт по детским волосам.

Но, боже мой, как долго ждать свиданья,  
Как трудно молчаливому, тому,  
Кто через двадцать лет свои страданья  
Расскажет вслух себе же самому.

На головном плоту трещал огонь,  
Шипя, топули искры под водою,  
Ловя их слёту в красную ладонь,  
Волгарь с широкой белой бородою

Неторопливо говорил своим  
Планим лежавшим на плоту соседям:  
«Такая жизнь — поедем, постоим,  
Поедем, постоим, опять поедем...»

## ВТОРАЯ ГЛАВА

### I

Мужские неуютные углы,  
Должно быть, все похожи друг на друга.  
Неделю не метённые нолы,  
На письменном столе два чёрных круга  
От чайника и от сковороды,  
Пучок цветов, засохших без воды,  
Велосипед, висящий вверх ногами,  
Две пары лыж, приставленных к окну, —  
Весь этот мир, в длину и в ширину  
Давно измеренный тремя шагами.

Как хорошо мы помним до сих пор  
Нехитрые мальчишеские трюки:  
Мгновенно в угол заметённый сор,  
Под тюфяком разглаженные брюки,  
И галстук, перед праздником за сутки  
Заботливо заложенный в словарь,  
И календарь стеной, на самокрутки  
Оборванный вперёд на весь январь,

Пиджак, зашитый грубыми стежками,  
Тетрадка с юношескими стишками...

Все утлые предметы обихода,  
Треногий стол и голая стена, —  
Всё ждало здесь, когда придёт она,  
Желая и страшась её прихода.

И сам хозяин скучными почками  
Мечтал её в свой угол привести,  
Рубиться с кем-то длинными мечами.  
Бог знает, от кого её спасти.

Он клялся быть ей верным до могилы,  
Он звал её, он ждал её сюда,  
Ждал год и два. Потом почти всегда  
Она в конце концов к нам приходила.

И говорила: бедный, дорогой —  
Какое-то незначащее слово,  
Которое, услышав раз, другой,  
Мы каждый день хотели слышать снова.

Все стены в доме были той системы,  
Когда, имея даже скверный слух,  
Живя в одной из комнат, вместе с тем мы  
Почти живём ещё в соседних двух.

И если у соседа есть жена,  
То, обхвативши голову руками,  
Ты всё же слышишь, как, ложась, она  
Роняет туфли, стукнув каблуками.

А впрочем, женщин в доме было мало.  
Мужское беспокойное жильё;  
Мы сами, помню, по утрам, бывало,  
Стирали в умывальниках бельё.

Когда я снова роюсь в этих датах,  
Я и доныне верю, не шутя,  
Что в тридцать первом не было женатых,  
Что все женились года два спустя.

Он уезжал отсюда. Есть пора,  
Когда мы погрубевшими руками  
Должны потрогать острие пера,  
Почувствовать себя учениками,

Должны сменить, уехав налегке,  
Строительный привычный беспорядок  
На кляксы ученических тетрадок,  
На узкую кровать в студгородке.

Он вдруг себя почувствовал подростком  
С потёртой школьной сумкой на спине.  
Он был готов ночей не спать на жёстком,  
На самом неудобном топчане,

Учителям, как в детстве, глядя в рот,  
Сидеть на ученической скамейке,  
Жевать на завтрак тощий бутерброд,  
Считать стипендий скучные копейки.

2

Мать, по своей старушечьей привычке,  
Явилась на вокзал за целый час.  
В её бауле сыну прозапас  
Лежал цыплёнок, булочки, яички.  
С тех пор как, убедив её с трудом,  
Чтоб каждый день по десять вёрст не делать,  
Уехал сын в заводский дальний дом,  
Ей всё казалось, что недоглядела.  
Что надо б не пускать его в ютезд.  
Зазвав к себе, ему котлетки грела,  
Как он их улетал, с тоской смотрела:  
Бедняжка, верно, плохо дома ест...

Есть матери — блажен, кто их имеет, —  
Нам кажется порою, может быть,  
Они всего на свете и умеют,  
Что только нас жалеть, кормить, любить...  
Но если сын обижен ни за что, —  
Заняв на бесплацкартный у знакомых,  
В своём потёртом стареньком пальто  
Они дойдут до самого наркома.

Но, вместо сына, к первому звонку  
Пришла она — соперница, девчонка,  
В мужской ушанке, с сумкой на боку,  
В короткой курточке из жеребёнка.

Мать ей навстречу важно чуть привстала,  
Морщинистую руку подала.  
Пока девчонка что-то щебетала,  
Мать на неё смотрела из угла.

— Ну да, конечно, с синими глазами,  
И даже с ямочками на щеках,  
И щёки не изъедены слезами,  
И ни одной морщинки на руках.

Ну что ж, она не осуждала сына.  
Так повелось: растишь, хранишь, — потом  
Чужая девушка махнёт хвостом,  
И он уйдёт за нею, на чужбину...  
Сын, правда, говорил ей, что девчонка  
Ему близка как друг или сестра,  
Но он мальчишка, а она стара, —  
Где дружит сын — там, значит, жди внучонка.

Ей захотелось девушке сказать,  
Чтоб всё-таки она не забывала,  
Что жениха ей вырастила мать,  
Что мать его в морозы укрывала,

И если мальчик стал большим мужчиной,  
Который ей сейчас милее всех,  
Пусть помнит, тут и мать была причиной,  
Старухе поклониться бы не грех...

Но вот и он. И, ёжась от мороза,  
Из дымной залы вышли на перрон,  
Мать отошла. А девушка и он  
Пошли пройтись вперёд, до паровоза.

Мать провожала их ревнивым взглядом.  
Вот сын пришёл, а ты опять одна.  
Он до свистка проходит с нею рядом  
И ей последней крикнет из окна...

Как два влюблённых, словно всё в порядке,  
Он и она шли вдоль платформ почных.  
Она забыла взять с собою перчатки,  
Он грел ей руки, прятая их в своих.

Но, боже мой, чего бы он не дал,  
Чтоб знать — она нарочно их забыла... —  
Чтоб знать, приятно ли сейчас ей было,  
Что он ей руки греет. Как он ждал,

Чтоб из обычных ледяных границ  
Она бы вырвалась хотя бы на мгновенье!  
Пустяжное дрожание ресниц,  
Короткий вздох, одно прикосновенье.

Но что он может знать, когда она  
Всё так же, не меняясь год от года,  
Светла и безнадёжно холодна,  
Как ясная январская погода.

Оставь её — и ты легко прощён,  
Вернись опять — она и не заметит,  
Её холодным солнцем освещён,  
Забудешь ты, как людям солнце светит.

Ему хотелось вместо всех «прости»,  
Недолго думав, взять её в охапку,  
Взять всю, как есть, с планшеткой, с лубкой, с  
шапкой,  
Как пёрышко, в вагон её внести...

Но, не дождавшись третьего звонка,  
Он, даже не простившись хорошенько,  
Сказал ей равнодушное «пока»,  
Легко вскочил на верхнюю ступеньку.

Состав пошёл. Стянув перчатки с рук,  
Мать вдоль платформ за сыном зачастила  
И, виновато поглядев вокруг,  
Из-под полы его перекрестила.

Последнее лицо в оконной раме,  
Последний шепот: «Кутайся тепло», —  
И кто-то сквозь замёрзшее стекло  
Кричит, беззвучно шевеля губами.

Мать с торжеством на девушку взглянула —  
Не ей, а старой матери своей  
Уже с подножки руку протянул он  
И помахал фуражкой из дверей.

Но девушка её не замечала.  
Она, давясь от подступавших слёз,  
Смотрела вдаль, туда, где всё кончалось,  
Где вился дым и таял стук колёс.

Мать видела — на воротник упала  
Тотчас стыдливо стёртая слеза.  
Куда и ревность разом вся пропала.  
Заплаканные синие глаза  
Ей показались мягче и грустнее;  
Что ж, мать порой ревнует невпопад,  
Но если мы о сыне плачем с нею,  
Нам эти слёзы полвины скостят.

— Голубчик мой, я так одна скучаю,  
Я так давно к себе вас не звала,  
Голубчик мой, пойдёмте, выпьем чаю... —  
И девушка безропотно пошла.

До самой двери, долгий путь ночной,  
Мать ей тихонько на ухо шептала,  
Какой он в раннем детстве был больной,  
Каких лекарств она не испытала.

Как восемь лет кругом была война,  
Как трудно приходилось с докторами.  
Как, если будет у него жена,  
Должна она быть благодарна маме.



3

Всегда назад столбы летят в окне,  
Мы двадцать раз проехать можем мимо,  
Они опять по той же стороне  
К нам в прошлое летят неумолимо.

Он знал её давно, давным-давно,  
Когда-то в детстве жил он рядом с нею,  
Ещё мальчишкой, причесав и бледнея,  
Подглядывал за ней через окно.

Он помнит платье в ситцевых цветах,  
И по двору мельканье пёстрой юбки,  
И хитрый взгляд, когда она, устав,  
Садилась на виду, поджавши губки.

И блеск уже тогда лукавых глаз,  
И худенькие девочкины руки.  
Он слишком много, для мальчишки, раз  
Об этом вспомнил за семь лет разлуки.

И вдруг её увидеть наяву.  
Она его сначала не узнала.  
— Где вы теперь живете? — Я живу... —  
И улицу знакомую назвала.

— А я ведь вас ходил искать не раз.  
— Искать меня? — Вы жили рядом с нами.  
Тогда вас звали Машею. — А вас? —  
И снова обменялись именами.  
Он говорил с ней нарочито грубым,  
Ещё неустоявшимся баском.  
Когда она подкрашивала губы,  
Он вытирал их носовым платком.

Под зонтиком, сквозным, как решето,  
В осенний дождь она терпела кротко,  
Пока с ворчливой нежностью пальто  
Застёгивал он ей до подбородка.

Они гордились дружбою своей,  
Тем, что они так по-мужскому дружны,  
Что друг от друга ни ему, ни ей,  
Казалось, больше ничего не нужно.

Она, по крайней мере, много дней,  
Его к невинной дружбе приучала,  
Но он, с тоской поверив в этом ей,  
Себе не верил с самого начала.

Раз так стряслось, что женщина не любит,  
Ты с дружбой лишь натерпишься стыда,  
И счастлив тот, кто разом всё обрубит,  
Уйдёт, чтоб не вернуться никогда.

Он так не смог, он слишком был влюблён,  
Он не посмел рискнуть расстаться с нею.  
Чем больше дней молчал и медлил он,  
Тем было всё труднее и стыднее.  
И воровским казался каждый взор,  
И каждое пожатие — печестным.  
Но девушке, пожалуй, до сих пор  
Всё это оставалось неизвестным.

Он много раз один в часы ночные  
Мечтал, что, стоит в дом её ввести,  
Её вихры мальчишечьи смешные  
В послушные косички заплести,  
На кухне вымыть чайную посуду,  
Нагреть свою печурку докрасна,—  
Ей станет так уютно, что она  
Останется и не уйдёт отсюда...  
Минутами казалось, что и ей  
Хотелось быть большой, неосторожной.  
Сердитые морщинки у бровей,  
И голос вдруг по-женскому тревожный,  
И взгляд такой, как будто вдруг она  
Заметила посередине фразы

Глаза мужчины, койку у окна  
И ключ в двери, повернутый два раза.

Нет, не повернутый. Но всё равно,  
Пусть три шага ты мне позволишь взглядом:  
Шаг к двери—заперта. Шаг к лампочке—темно.  
И шаг к тебе, чтоб быть с тобою рядом...

Но где там! Синеглазая юла,  
Что ей до нас, до наших тёмных комнат!  
Подпрыгнет, сядет посреди стола,  
Обдёрнуть платье даже и не вспомнит.  
Прижмётся, если на дворе мороз,  
Разуется, чтоб водкой вытер ноги,  
И поцелует по-смешному в нос,  
И на плече вздремнёт, устав с дороги.

Недавно целый день была метель.  
Она за полночь на часы взглянула.  
Без спросу застелив его постель,  
Калачиком свернувшись, прикорнула.

Он лёг у ног её, как верный пёс.  
Он видел из-под сдвинувшейся шубы  
Беспомощные завитки волос,  
По-детски оттопыренные губы.

Так близко, так ужасно далеко  
Она ещё ни разу не бывала.

Чем так заснуть, беспечно и легко,  
Уж лучше бы совсем не ночевала.

Хотелось крикнуть. Выгнать на мороз  
Безжалостно, под носом хлопнуть дверью  
За это равнодушное, до слёз  
В такую ночь обидное доверье.

Зато теперь он едет. В самый раз —  
Он должен поскорей от рук отбиться,  
От рук её, от губ её, от глаз,  
В кого придётся, наскоро влюбиться.

Зубрить, зубрить и в пять утра вставать,  
И засыпать над книгой как попало,  
Не вспоминая падать на кровать  
И сразу спать. Иначе всё пропало.

Вот только жаль, что рельсы и столбы  
Легли соблазном между городами,  
А предки ждать решения судьбы  
Привыкли месяцами и годами.

Легко им было забывать навек,  
Когда, кряхтя, тащились колымаги,  
Когда казённый сонный человек  
По тракту вёз почтовые бумаги.

А мы? Вокзал и почта за углом.  
Нам трудно день прожить без покаянья.  
Забвенье стало трудным ремеслом,  
Когда у нас украли расстоянья.

На Спасской башне било семь. Москва  
Ещё была в рассветной синей дымке,  
Шинели в снеготаялках дрова,  
Свистели постовые-невидимки.  
Под буквами неоновых реклам  
Сидели сторожа с дробовиками,  
Похлопывая красными руками  
По рыжим громяющим бокам.

Прозрачной тонкой струйкой купороса  
Дымки из труб летели от застав, —  
Казалось, целый город, только встав,  
Затягивался первой папирсосою...

Москва в его глазах была большой,  
Трамвайной, людной и немножко страшной,  
В ней были Кремль, и Сухарева башня,  
И два театра: Малый и Большой.

Но стоило войти в неё с утра,  
Увидеть сторожей у магазинов,

Заметить дым последнего костра,  
Услышать запах первого бензина, —

Чтоб вдруг понять, что с этою Москвой  
Им можно положиться друг на друга,  
Что этот город, тёплый и живой,  
В конце концов ему уделит угол.

Понравься ей. Работой по ночам  
И утром пояс стягивай потуже,  
Ни в чём не уступая москвичам,  
Учись у них, ты их ничем не хуже.

И если разболится голова  
И будешь плакать, сидя в чахлом сквере,  
Никто не вытрет слёз твоих. Москва  
Таким слезам попрежнему не верит.

Какое б море мелких неудач,  
Какая бы беда ни удручала,  
Руками стисни горло и не плачь,  
Засядь за стол и всё начни сначала.

А вот и дом, куда он так летел,  
Старинное святилище науки.  
Московских зодчих золотые руки  
Тут положили прочности предел.

Тут всё ему внушало уваженье:  
Тяжёлые чугунные замки,  
Львы у ворот, ленные потолки,  
Высокие до головокруженья.

По коридорам шли профессора,  
Один другого старше, старомодней.  
Он их и не заметил бы вчера,  
Но с трепетом смотрел на них сегодня, —  
На их стоячие воротнички,  
На узенькие — дудочками — брюки,  
Подвязанные пилочкой очки  
И в синих жилках старческие руки.

Он в первый день не заходил в музеи.  
Весь день ушёл на главное — на то,  
Чтоб просто так идти, на всё глаза,  
Подняв от снега воротник пальто.

К полуночи он возвратился в дом,  
Где им с утра почёвку указали,  
Где топчаны, добытые с трудом,  
Как хвойный лес, стояли в тёмном зале.

Он лёг, не раздеваясь, у окна.  
На свет и тень нарезав зал ломтями,  
Вся в хлопьях снега, белая луна  
На подоконник оперлась локтями.

В такую ночь и спать невпору нам.  
Нам нужно, чтобы плиты были гулки,  
Чтоб нам, привыкшим к четырём степам,  
Вдруг помогли думать переулки.

Он, ёжась, вышел в тёмный коридор.  
Свет не горел. В бутылках мёрзли свечи.  
У самой двери старенький вахтёр  
В неслышных туфлях поднялся навстречу:  
— Вам телеграмма. — Всё ещё не веря,  
Опять читал: «Верникъ — я не могу».  
На бланке буквы, как следы до двери  
На этой ночью выпавшем снегу.

Не может? Лжёт. Не может — это значит  
Всё ходит, ходит ночи напролёт,  
И пробует заплакать и не плачет,  
В подушку ртом — как головой об лёд.  
И вдруг бежит вдогонку за трамваем,  
Завидя там похожий воротник,  
Сто раз на дню упрямо забывая,  
Что встретиться зависит не от них.  
Не может быть, он не сошёл с ума,  
Чтоб верить ей, девчонке-недотроге.  
Она уже испугана сама,  
Но телеграмму не вернёшь с дороги.

И всё-таки на том себя ловлю,  
Что пробую лицо её представить,

Когда она мне говорит: люблю,  
Решив себя на память мне оставить.  
И не могу. Я вижу только рот,  
Способный мне сказать два милых слова,  
Упрямый — сделать всё наоборот,  
И детский — тут же помириться снова.

А вдруг она, упрямец, смогла  
На каблуках перевернуться круто...  
Спина тоже море подожгла,  
И кто-то ж ей поверил на мигну.

Спешить к ней, задыхаясь на бегу,  
Как будто море правда загорится,  
Не оставаясь у неё в долгу,  
За сумасбродство отплатить сторицей.  
Пусть, ошибаясь, пусть хоть не любя,  
Придёт к тебе, сама уже не рада.  
А ты поверь, обманывай себя,  
Раз в жизни так, наверное, и надо.

Он вспомнил комнату, но не такой,  
В какой он жил, а новой, той, в которой  
Всё тронута уже её рукой:  
Со скатертью, с окном, закрытым шторой...

Её подарки, мелочь, баловство,  
То абажур, то коврик над кроватью,

И штопанное ситцевое платье,  
В котором ходят только для него:  
Он наизусть в нём знает все заплатки,  
Он любит, чтобы дома, встав со сна,  
Опять вся в школьных бантиках и складках,  
Как девочка, в нём бегала она.

Да, стоит быть неленым, безрассудным,  
Уехать к ней, себе же на беду.  
Как хорошо, что ничьему суду  
Такие преступления не подсудны.

Ты в этом не раскаешься сначала,  
Потом раскаешься, потом тебе  
Ещё придётся каяться, что мало  
В чём каяться нашлось в твоей судьбе.

5

Как всё-таки она его ждала!  
Она не знала раньше, что в разлуке  
Так глупо могут опуститься руки,  
Так разом опостылеть все дела.

Она была внезапно лишена  
Тех маленьких счастливых ожиданий,  
Той мелочпой, но ежедневной дани,  
Которую нам жизнь платить должна.

Мы можем пережить большое горе,  
Мы можем задыхаться от тоски,  
Тонуть и выплывать. Но в этом море  
Всегда должны остаться островки.

Ложась в кровать, нам нужно перед сном  
Знать, что на завтра просыпаться стоит,  
Что счастье, пусть хоть самое пустое,  
Пусть мелкое, придёт к нам завтра днём.

Любила ли она его? Тревожно  
Искать портрет. Не узнавать лица.  
Казалось, присмотреться бы уж можно,  
А всё не присмотрелась до конца.

Ей нравился в нём жёсткий рот мужчины,  
И властное пожатие руки,  
И первые недетские морщины,  
И ранние седые волосы.

Ей нравилось, что, идя с нею рядом,  
Он вдруг дышал, как в гору, тяжело,  
Блуждая городским замёрзшим садом,  
В пальто её укутывал тепло.

И, руки дольше задержав, чем надо,  
Терялся и краснел, сходил с ума,  
Когда она, его смущенью рада,  
Наивно говорила: «Я сама».

Недавно одолела вдруг усталость.  
С ним после лыж вернулась чуть жива.  
Шёл снег. Она заночевать осталась,—  
Не из-за снега, так, из озорства.

Ей не спалось, но, притворившись сонной,  
Она видала, как он лёг у ног,  
Когда-то злой, но ею прирученный,  
Лохматый и взъерошенный щенок.  
Такой большой, покорный, терпеливый,  
Не смеющий ни рывкнуть, ни напасть...  
Как хорошо владеть им! И, трусливо  
Зажмурившись, класть пальцы прямо в пасть.  
Она уже два года замечала,  
Что с ним опасно стало быть нежней,  
Любовью перепугана сначала,  
Она потом легко привыкла к ней.

Заметила, что он всего слабее,  
Когда она — девчонка-егоза,  
Когда она дичится и робеет  
И делает невинные глаза.

Всё с ним да с ним. И даже в скучный вечер  
За то, что он пришёл, его браня,  
Привыкла так, что, кажется, без встречи  
Сама с трудом могла прожить полдня.

По ей ещё ни разу не мечталось,  
Забыв про всё, притти к нему домой,  
Чтоб, кроме вечных слов «моя» и «мой»,  
В погасшем доме звуков не осталось.

А если так — пожалуй, ведь она  
Его жалеа больше, чем любила.  
Но в эти дни, когда ей грустно было,  
Когда, оставшись без него одна,  
Она себе не находила места,  
Ей показалось, что она лгала,  
Что мать его, назвав её невестой,  
Недалека от истины была.  
Ей захотелось вдруг без предисловья  
Расцеловать его, затормозить  
И, не спросясь ни у кого, решить,  
Что это называется любовью.

Послушает, вернётся ли с дороги?  
Попрежнему ль она ещё сильна?  
Телеграфист был заспанный и строгий,  
Переспросил зачем-то имена.

. . . . .

И вот вокзал. Бутылки с кипятком,  
Резиновые, длинные минуты.  
И скорый поезд, осадивший круто,  
Последний шаг, плетущийся пешком.

Он в самом деле приезжал сюда.  
Она должна ему свой голос, руки, тело.  
— Ждала? — Ждала. — Звала обратно? — Да.  
— Хотела быть со мною? — Да, хотела.

А ей сейчас сказать бы: «Милый мой»,  
Пожалуй, приласкаться осторожно,  
Чтоб снова провожал её домой,  
Чтоб всё опять привычно и несложно.

Ещё хотя бы год не покидать  
Лукавого сословия девчонок  
И в каждом сне его тревожно ждать,  
И каждый раз за сны краснеть спросонок

Быть любопытной и неосторожной,  
Наперекор мужскому их уму,  
Знать каждый раз: чего нельзя, что можно,  
И в руки не даваться никому.

А поезд подходил уже к платформе,  
Вот кто-то прыгнул с хода на перрон.  
Но, слава богу, тот, в военной форме,  
Который прыгал, всё ещё не он.  
Скорей в толпу, не думая, а там  
Пусть будь что будет; подождать немного,  
Пусть не идёт за нею по пятам.  
Она сама найдёт потом дорогу.

Бежать, но раньше хоть одним глазком  
Увидеть, что приехал в самом деле.  
А если нет — глаза зажать платком  
И звать опять, и ждать ещё неделю.

6

Не может быть. Он обежал вокзал.  
Он грудью бился в запертые двери.  
Она придёт — да кто тебе сказал?  
Уже поняв, но всё ещё не веря,  
Бежал, бежал, как белка в колесе,  
По этому грохочущему аду,  
Где были все, кого не надо, все,  
Все, кроме той, которую нам надо.

Чего всё это стоило ему —  
Он понял, лишь домой к себе приехав.  
Десятки книг, не нужных никому,  
Забывших стен нетопленное эхо,  
И никого... Пустой и длинный день.  
Бывает одиночество такое,  
Что хочется хоть собственную тень  
Потрогать молча на стене рукою.

Мальчишка плачет, если он побит,  
Он маленький, он слёз ещё не прячет.  
Большой мужчина плачет от обид.  
Не дай вам бог увидеть, как он плачет.

Он плачет горлом. Он едва-едва  
С трудом и болью разжимает губы,  
Он говорит ей грубые слова,  
Которых не позволил никому бы.

Он говорит — ей, милой, дорогой —  
Слова сухие, как обрезки жести,  
Такие, за которые другой  
Им был бы, кажется, убит на месте.

Не скинув шубки, двери не закрыв,  
Не отеревши ноги на пороге,  
Она к нему вбежала, как порыв  
Нежданной им и ветреной тревоги.

Так в комнату к нам входят только раз,  
Чтоб или в ней остаться вместе с нами,  
Иль, распрощавшись с этими стенами,  
Надолго в них одних оставить нас.

Что можем мы заранее узнать:  
Любовь пройдёт вблизи. И нету силы  
Ни привести её, ни прочь прогнать,  
Ни попросить, чтоб дольше погостила.

Он шаг её услышал за стеною,  
Но, не поверив, что пришла она,  
На всякий случай стал к дверям спиною,  
Касаясь лбом замёрзшего окна.

Она швырнула на пол рукавицы,  
Чтоб он не слышал, туфли с ног сняла,  
На цыпочках пройдя по половице,  
Его за шею сзади обняла.

И только здесь, услышав шорох платья  
И рук её почувствовав тепло,  
Он в первый раз поверил, что пришло  
Его простое, будничное счастье,  
То самое, которого, не плача,  
Не жалуясь, мы долго ждать должны.  
Нам без него не радостны удачи,  
Труды скучны, победы не нужны.

Ему осталось только потесниться,  
Обнять её, своим теплом согреть,  
От слёз, от снега мокрые ресницы  
Рукою неуклюже отереть.

## ТРЕТЬЯ ГЛАВА

### 1

Лишить бы нас печального пристрастья  
Вновь приезжать на старые места.  
Как был бы рад из памяти украсть я  
Ту комнату, которая не та,  
Давно не та, — другими нанята  
И всё-таки, назло тебе, похожа,  
Похожа так, что вдруг мороз по коже,  
Когда пройдёшь нанамять этот дом  
И лампу под зелёным колпаком,  
Теперь под жёлтым? Почему под жёлтым?  
Всего семь лет, как из дому ушёл ты,  
И вот они уж рады — кверху дном.  
Ты будешь проходить здесь только днём,  
Чтоб не встречать все эти перемены:  
Зачем-то перекрашенные стены,  
Дешёвых люстр стеклянные подвески  
И толстые чужие занавески,  
Которых мы не покупали с ней.  
Я этот дом пройду, закрыв глаза,

Я попрошу, раз иначе нельзя,  
Играющих на улице детей, —  
Скажу, что слеп. Вдвоём с поводырём,  
Зажмурясь, я пройду проклятый дом.  
Мальчишка-поводырь мне за гроши  
Солжёт, что здесь не те земля и небо.  
И сослепу, не встретив ни души,  
Поверю сам, что я тут прежде не был.  
Я заплачу, чтоб день прожить незрячим,  
А память? Жаль, что не заткнёшь ей рта!  
Полжизни уписав на пол-листа,  
Мы память сложим вчетверо и спрячем.  
На что нам память? Сдать бы напрокат,  
Чтоб, как большие чёрные рояли,  
В чужих квартирах памяти стояли.  
Пускай в них барабанят наугад,  
Пусть, сев, как втрое сломанная палка,  
Там будет гаммы девочка играть, —  
Чужую память никому не жалко,  
И даже лень настройщика позвать.

Какие только мысли не взбредут  
В бессонницу, когда мы подъезжаем,  
И проводник уже стучится с чаем,  
И три соседа нехотя встают,  
А ты упорно смотришь за окно,  
Как будто правда кто-то может встретить...  
Вы здесь бывали? — Да, бывал. — Давно?

— Семь лет назад. — Что ж им ещё ответить?  
— Вы никогда не думали, что вдруг  
Уйдём — и нет ни тумб, ни крыши, ни ставен.  
Вернёмся — ловкое движенье рук —  
И всё назад, как фокусник, расставим?  
Не думали? — Но поезд, подойди,  
Уже был вровень с низкими домами.  
Перрон в окне за каплями дождя  
Бежал, прикрывши голову зонтами.

Уже засуетились чьи-то жёны,  
Уже стучали пальцами в стекло,  
А нам с тобой опять не повезло,  
Нас только дождь встречает у вагона  
Ну что ж, ведь мы транзитные. Для нас  
Не всюду приготовлена погода.  
Нам только скоротать бы лишний час  
До позднего отплытья парохода.

Что, в самом деле, мало нам земли?  
Есть поезда на Пензу, Тверь и Тулу.  
Так нет, другой дороги не нашли,  
Опять на пепелище потянуло.

Вот этот дом — теперь ходи кругами,  
Иди, пока не высохнет песок,  
Пока земля, как серый коробок,  
У нас не загорится под ногами.

Твоё лицо едва ль кому напомним  
Того мальчишку, что давным-давно  
Жил за стеной в одной из этих комнат,  
Смотрел сквозь это тёмное окно,

Не зная цен утратам и привычкам,  
Ещё не веря в тот счастливый год,  
Что, как в тайге зимой последним спичкам,  
Минутам счастья есть поштучный счёт.

А дом всё тот же. И в жару и в стужу,  
Не то, что нам: ему износу нет,  
Сквозь перекраски пятнами наружу  
Опять пробился прежний детский цвет.

Здесь женщина, с которою когда-то  
Он прожил год в своём пустом углу,  
Тревожно, неуютно, небогато,  
Раскладываясь на ночь на полу.

Здесь женщина, с которой слишком долго  
Они дружили, обманув себя,  
И вдруг сошлись, не разобравшись толком,  
Скорее сострадая, чем любя.

Их чувству дружба прежняя мешала;  
Они стыдились признаваться в нём,  
И то, что было ночью, их смущало,  
Смотреть в глаза не позволяло днём.

Здесь женщина, с которой слишком быстро  
Они расстались, не успев решить.  
Бывают расставания, как выстрел, —  
Ни дня, ни часу дольше не прожить.

В них ничего не жалко и не странно,  
От них, вперёд решая быть умней,  
Страдают, как от огнестрельной рапы,  
И, выжив, поправляются в пять дней.

Но есть ещё другие расставанья.  
Без громких ссор, без точки на конце.  
Ползущая сквозь дни и расстоянья  
Болезнь, похожая на ТБЦ:

Уже всё зарубцовано, по году  
Уже врачей мы не пускаем в дом,  
И вдруг весной в ненастную погоду  
Опять, как рыбы, ловим воздух ртом.

Под южным солнцем заметая след,  
Сбежать бы в Крым или, ещё полезней,  
Сжечь пачку писем, вот уж много лет  
Подшитую к истории болезни.

Здесь женщина, которая причастна  
К такому списку самых чёрных дней,  
К такой любви, нелепой и несчастной,  
Ко стольким бедам юности моей,

Что, вздумай мы по этим пятнам тёмным  
Себя сквозь память, как сквозь строй, прогнать,  
С другими мы и счастья не припомним,  
С ней — и несчастье будем вспоминать.

Пет, он сюда зайдёт в обрез. Зайдёт  
Уже перед отплытием, мимоходом.  
Он поцелует руку и вздохнёт,  
И скажет, что прекрасная погода,  
Что он случайно оказался тут,  
И вот зашёл, и что пора в дорогу.  
Что скажешь ей за эти пять минут?  
— Да, ничего.— Шу, вот и слава богу.

2

Куда ж пойти? Еще не знаем сами.  
И нужно и ко всем и ни к кому.  
И люди с посторонними глазами  
Павстречу попадаются ему.

Он вдруг сообразил, что, как ни странно,  
Но так же, как и он, его друзья,  
Прожив тут юность, с лёгким чемоданом  
Перебирались в дальние края.

Куда ж пойти нам? За угол и прямо,  
Знакомый нераскрашенный фасад,  
Печальный дом, где много лет назад  
В свою отлучку умирала мама.

Пять дней не умирала — ожидала...  
Казалось, никогда не обижал,  
А тут вот телеграмма оповдала,  
Она звала, а ты не прибежал.

Как ей, должно быть, было одиноко!  
На телеграмму денег наскребла.  
А сын не едет, сын ещё далёко,  
У сына, верно, важные дела.

По целым дням глядела на дорогу,  
Глаза от света заслонив рукой,  
До самой смерти верила, как в бога,  
Что он приедет, он ведь не такой.

Стыдилась переспрашивать соседок,  
Послали телеграмму или нет,  
Отчаявшись, мечтала напоследок,  
Чтоб хоть по почте ей прислал ответ.

Он снова вспомнил тёмный зимний вечер,  
Притихший дом весь в восковом тепле,  
И праздничные тоненькие свечи,  
Как в день рожденья, в детстве, на столе.

Присев на лавку у ворот, устало  
Взглянул на дом, на фикусы в окне.  
Ему сегодня только нехватало  
Взять и заплакать, прислонясь к стене,

Чтоб постовому дети рассказали,  
Как за углом, на улице, один  
Сидит и заливается слезами  
Седеющий высокий гражданин.  
Чтоб постовой узнал, откозырявши,  
Спросив, не надо ль помощи ему,  
Что гражданин к мамаше умирающей  
Не смог прибыть и плачет потому.

Он вспомнил руки матери. Её  
Все в мелких ссадинках худые пальцы.  
Они с рассветом брались за бельё  
И с темнотой за спицы или пяльцы.  
Такие быстрые, как ни следи,  
Всё что-то надо тормошить и трогать.  
Она в гробу впервые их, должно быть,  
Сложила неподвижно на груди.  
Сбиваясь с ног, чтоб дома было чисто,  
Прислуга всем с утра и дотемна,  
Мать в праздник вспоминала, что она  
Сама была вдовой телеграфиста.

По воскресеньям, в гости уходя,  
Брала с гвоздя, завёрнутую в тряпку,  
Увядшую от снега и дождя,  
Чуть не до свадьбы купленную шляпку.

Он помнит все подробности, она  
Висела в комнате на видном месте.

Отец купил её ещё невесте;  
Её носила тридцать лет жена.  
Потом вдова. Нет, он не взял её,  
Он с похорон уехал без оглядки.  
Соседи разобрали всё старьё:  
Венчальный шлейф и белые перчатки,  
Стеклярусом обшитый кушачок,  
Атласный лиф с засохшей розой чайной —  
Тот самый чёрный мамин сундучок,  
Который в детстве был такою тайной.  
Всё разлетелось по чужим рукам,  
В чужие, равнодушные квартиры,  
Для нас мучительные, сувениры  
Легко и просто приживались там.

Ему сейчас внезапно захотелось  
Хоть на минуту маму возвратить,  
Её худое, лёгонькое тело  
Поднять и на колени посадить,

Придравшись к позабытым именнаям,  
Все городские лавки обойти,  
На всё, что есть, как свойственно мужчинам,  
Целеные подарки принести.

— Спасибо, милый. — Стой, да где ж она?  
Ведь только что ещё жила на свете.  
И вдруг ушла. Играющие дети,  
Чужие окна, тёмная стена...

Осталось меньше часа до отъезда.  
 Теперь зайти нам самая пора  
 В тот дом, как заколдованное место,  
 Нам в руки не дающийся с утра.

Он побежал, как мальчик на свиданье,  
 Как будто в доме нас и правда ждут,  
 Как будто страшно лишних пять минут  
 Прибавить к стольким годам опозданья.

Он приоткрыл чуть скрипнувшие двери.  
 Всё было тихо. Только в двух шагах  
 Шёл по полу мальчишка и с доверьем  
 Разглядывал мужчину в сапогах.

Он взял мальчишку на руки. Не в мать,  
 Совсем не в мать: белёсый, светлокожий,  
 И всё же чем-то — сразу не поймать, —  
 Лукавством, что ли, на неё похожий.

— Да сколько же тебе? — Четыре года. —  
 Где мама? — Там. — И, не спуская с рук,  
 С ним на руках вошёл, как входят в воду,  
 На всякий случай взяв с собою круг.

— Пу да, конечно, как же не узнать.  
Он всё-таки решил сюда вернуться?  
Она сейчас, он должен подождать,  
На пять минут присесть и отвернуться.

Он оглядел квартиру. По углам  
Стояли этажерки и комоды,  
И стайки туфель, вышедших из моды,  
Паслись у ножек стульев здесь и там.

Квартира, даже в сумрак, в тишине,  
Была, как днём, шумна и суетлива.  
В ней, как в часы отлива и прилива,  
Слонялись вещи от стены к стене.

Здесь девочки давно простыл и след.  
Привычками заменены причуды.  
Здесь женщина. Ей скоро тридцать лет.  
И в детство ей не убежать отсюда.

— А вот и я!—Вот и она сама.—  
Совсем седой, как изменился, боже!  
За все семь лет ни одного письма.—  
А ты ждала?—Нет, не ждала. По всё же...—  
Что всё же?—Всё же... Впрочем, всё равно,  
Позвал тогда, пожалуй, прибежала б,  
Всё триш-травую поросло давно,  
Теперь не нужно запоздалых жалоб.

Знакомый жест — закинутый назад,  
Упрямый подбородок недотроги,  
А взгляд не тот, — чужой, ленивый, взгляд,  
Уже привыкший гаснуть с полдороги.

Черты как будто изменились мало,  
Всё те же губы, по лицу ему  
Ничем о прошлом не напоминало  
И в будущем не звало ни к чему.

Нет, вовсе нет, она не постарела,  
Её почти не тронули года,  
А просто всё не так — не так смотрела,  
Не так ходила, всё не как тогда.

На коврикe под детскою кроватью,  
Среди подвязок, туфель и чулок,  
Валялась тряпка, — выцветший кусок  
От старенького девичьего платья.  
Должно быть, ею уж не первый год  
Стирали пыль и вытирали туфли,  
И ситцевые розочки потухли  
От этих многочисленных невзгод.

Оправившись от первой суеты,  
Она была, должно быть, правда, рада,  
Что дождь прошёл и вдруг приехал ты,  
И можно выйти погулять по саду.  
Ей, право, очень кстати твой приход,

Чтоб метительно похвастаться семьёю,  
Сказать, что сыну скоро пятый год  
(А мог девятый быть у нас с тобою),  
Что младший весь пошёл лицом в отца  
(А мог в тебя). Памёки были робки,  
Нигде не прорывались до конца,  
Но в каждой фразе замыкались в скобки.  
— Так и живём. Да, счастливы, давно...—  
А в скобках: и безжалостны к потерям.  
— Всё хорошо.— А в скобках: всё равно  
Завидуешь. Не прячься. Не поверим.  
— А ты всё так же?— Как?— Всё так же, ну...—  
Вдруг с поткою обидного участия  
К тому, что не нашёл жену,  
Не то, что мы. Себе не склеил счастья.  
— Так всё и бродишь?— Так уж повелось,  
Когда-то ведь за это и любила.  
— Была глупа, да мало ли что было,  
Пельзя ж мальчишкой до седых волос.

Кто эта женщина? Как после сна,  
Глаза ладонью протереть невольно.  
Нет, не она. Конечно, не она.  
Семь лет он лгал себе. С него довольно.  
Она обманом выкрала у той  
Знакомую привычку морщить брови,  
И детский рот с упрямою чертой,  
И милую картавость в каждом слове.

А если поглядеть со стороны,  
Как два влюблённых, словно всё в порядке,  
Он и она вдоль каменной стены  
Шли через сад, рассматривая грядки.  
— Да, примулы, а эта с резедой.  
Тут смяли дети, — бегали в горелки.  
А здесь табак, а вон на крайней, той... —  
Он, чиркнув спичкой, поглядел на стрелки.

Да, он спешит, да, едет ближе к почти.  
Не хочет ли он мужа подождать?  
Да, нет, по правде говоря, не очень.  
Совсем по правде? — Лучше б не видеть.  
Ревнует к мужу? Слава богу, нет.  
Писать ей письма? Нет, писать не станет.  
Когда заглянет? Пропадал семь лет,  
Ещё на семь исчезнет и заглянет.

Он вышел вон. У поворота к школе,  
Ютясь в пальтишко узкое своё,  
Шла выросшая девочка, до боли  
Похожая на прежнюю её;  
Похожая почти до совпаденья,  
Неся в руках похожие цветы,  
Прошла, как мимолётное виденье,  
Прошла, как гений чистой красоты.

И вдруг он понял: вот с кем он прожил  
Все эти годы странствий и обманов,

Вот чьи он фотографии возил  
Па дне пустых дорожных чемоданов.  
Да, девочка. И голубой дымок,  
И первых встреч неясная тревога,  
И на плечи наброшенный платок,  
Казённый дом и дальняя дорога.  
Сквозь время тоже ходят поезда.  
Садимся без билетов и квитанций.  
Кондуктор спросит:— Вам куда?— Туда.—  
И едем до своих конечных станций.  
Такой уж путь. На счастье ль, на беду,  
Но, выехав за первый дачный пояс,  
Не выскочишь, раздумав, на ходу,  
Не пересядешь на обратный поезд.  
Смотри назад: за сеткою дождя,  
По-детски руки протянув с перрона,  
Там девочка ещё стоит, следя  
За фонарём последнего вагона.  
— А эта женщина?— Да вы о ком,  
Об этой? — Нет, о ней я не печалюсь.  
Знаком ли с ней? Да, помнится, знаком.  
Давным-давно мы где-то с ней встречались.

1936—1941

# С У В О Р О В

*Поэма*

## О П А Л А

(1798 г.)

*П. Антокольскому*

1

Зима. Прошнекты все впотъмах,  
То снег, то ростепель напала.  
Бьют барабаны. На домах  
Расклеены указы Павла.  
Их много этою зимой,—  
Одни ещё не пожелтеет,  
Глядишь, другой уж сверху клеют:  
«Размер для шляп — вершок с осьмой,  
Впредь не носить каких попало,  
Впредь вальс в домах не танцовать.  
Впредь Машками, под страхом палок,  
Не сметь ни коз, ни кошек звать...»  
Перед дворцом помост сосновый,  
На Певском ледяном ветру,  
Здесь второных возводят новый  
Холодный памятник Петру.  
Должно быть, в пику Фальконету,  
В нём будет всё наоборот:

В проекте памятника нету  
Руки, протянутой вперёд.  
Ни змея, ни скалы отвесной.  
Он прочно станет на плите,  
Казённый и тяжеловесный.  
Да, времена теперь не те,  
Чтоб царь, раздетый, необутый,  
Скакал в опор бог весть куда...  
Из всех петровских атрибутов  
Мы палку взяли, господа;  
Ей освящённые уставы  
Пейдут у нас из головы.  
Давно развеян дым Полтавы,  
Ещё далёк пожар Москвы,  
Ржавеют в арсеналах пушки,  
Зато сияют кивера...  
Пять офицеров на пирушке  
Решили, что царя пора...  
Пора — а что? — нам неизвестно.  
По у Гостиного двора  
Кинжал какой-то житель местный  
Купил, промолвивши: «Пора...»  
Пора — а что? — мы не дознались.  
По есть донос, что до утра  
С приезжим в номере шептались,  
Всё повторяли: «Мол, пора...»  
И в снег, и в дьябрь, и в непогоду  
Возводят замок у Цевы,

Ещё в сырых подтёках своды,  
А уж кругом копают рвы.  
До света, обогнав зарю,  
Везут кирпич дорогой зимней;  
Такая спешка, словно Зимний  
Стал подозрителем царю.  
В вороньем гаме, в итичьем граве  
И в неразборчивом «ура-а»,  
То каркая, то замирая,  
К нему доносится «Пор-р-а...»  
Он с детства помнит это слово.  
Он жадно ищет до сих пор,  
Где тот гвардеец, тот актёр,  
На роль Григория Орлова,  
Как наперёд его узнать?  
И ночью, в поисках измены,  
Он сам выстукивает стены  
И шпагой тычет под кровать.  
И съёжившись, поджав колена,  
Но в силах до утра уснуть,  
Решается попеременно,  
То всех сослать, то всех вернуть.  
Санкт-петербургской ночью серой,  
Пугая сторожей ночных,  
Осатанелые курьеры  
Несутся на перекладных,  
Их возвращают с полдороги,  
Переправляют имена:

«Снять ордена, упечь в остроги,  
Вернуть, простить, дать ордена».  
И в эту ночь опять к заставе  
Курьер скакал во весь опор.  
Он, у дверей коней оставив,  
Вбежал на постоялый двор.  
Потребовал стакан спиртного  
И на закуску что-нибудь,  
И, нахлобучив шляпу, снова  
Готов бы ехать в дальний путь.  
Но два проезжих офицера,  
Пока не улетел в карьер,  
Схватили за полу курьера:  
«К кому вы, господин курьер?»—  
«Да что вы, господа, как можно?!  
Язык казённый под замком.  
Но так и быть...» Он осторожно  
Чуть слышно крикнул петухом...

2

Господский дом в селе Кончанском  
С обеда погружён во тьму.  
Везде лампадки, как в мещанском  
Добропорядочном дому.  
Хозяин экономит свечи,  
Он скуноват по мелочам.  
Когда не спится, он у печи

Погреться любит по ночам;  
В светец заправивши лучину,  
В ночном шлафроке, босиком,  
Сев по-турецки на овчину,  
Играет в шашки с денщиком:  
«Опять ты, Прошка, пересилишь,  
Опять мне в дамках не бывать...» —  
«Тут нужен ум, Лексан Василич,  
Ведь это вам — не воевать.  
Ну, проигрались, что за горе?  
Вам нынче в шашки не с руки,  
По понешним годам в фаворе  
Те, кто умеет в поддавки...»  
Суворов знает — Прошка снова  
Всё то же скажет, что вчера.  
И всё ж готов он вечера  
Сидеть и слушать слово в слово.  
Что ж, Прошка лестью не унижен,  
Он ради утешенья льстит.  
Его хозяин стар, обижен,  
На батюшку-царя сердит.  
При матушке Екатерине  
Он на другой манер серчал,  
Прижмут ли, обойдут ли в чипе, —  
Бывало, бегал да кричал,  
А нынче счёт забыл обидам.  
Сидит, молчит, не дует в ус.  
Но Прошку не обманешь видом,

Он знает твой и нрав и вкус.  
Пусть для других умён да тонок,  
Пусть для других ты генерал,  
А с Прошкой в бабки ты играл,  
Для Прошки ты всю жизнь ребёнок,  
Он знает, чем утешить кстати —  
То вдруг с три короба наврёт,  
То петь начнёт, то Павла — татем,  
Курносым немцем назовёт.  
И, в Прохоре души не чая,  
Ты только для порядку, зря,  
Прикрикнешь, будто бы сердчая,  
Чтоб он не смел так про царя;  
А сам уж шлёшь его к буфету,  
Пусть там пошарит по углам,  
Да принесёт графинчик к свету,  
Чтоб смерить точно пополам.  
Вот и сейчас — слышать отсюда,  
Как он сдвигает поставец  
И тихо тренькает посуда,  
Как еле слышный бубенец...  
Но что за наважденье. Прошка  
Уже давно пришёл с вином,  
А звон стеклянный за окном  
Ещё летит по зимним стёжкам.  
Ещё летит, и вдруг — к крыльцу!  
Так громко, словно бьют бокалы,  
И если б не сдержать рысцу,

Так тройка б в двери проскакала...  
Дверных запоров треск мгновенный,  
Шум раздвигаемых портьер,  
И в дверь полуторасаженный  
Влезает — весь в снегу — курьер.  
Лампадки словно ветер сдул,  
Во всём доме дрожат стаканы,  
И сам Суворов, встав на стул,  
Целует в щёку великана.  
«Скакал? Коням намылил холки?  
Небось, война, коли за мной?  
Эй, Прошка! Дай мундир мне с полки,  
Возок готовь, да четвернёй!»  
Он пакоскоь рванул пакет —  
Там был рескрипт о возвращеньи,  
Не прошенное им прощенье,  
А про войну — ни слова нет.  
«Эх вы, гоняете без толку,  
Напрасно будите людей!..  
Не надо, Прошка, лошадей,  
Мундир обратно спрячь на полку!  
А ты, курьер, моя душа,  
Не сетуй, что скакал задаром.  
Берёзовым кончанским паром  
Попарься в баньке не сеша;  
Поспишь, покормишься обедом,  
Пропустишь стопку и леги...  
Глядишь, по твоему пути

И я в субботу троусь следом.  
А что сердито говорю,  
Ты не горюй. Не ты в ответе,  
Что б ши привёз курьер в пакете,  
За быстроту — благодарю».

. . . . .

В субботу, взяв с собой рескрипт,  
Суворов выехал в столицу.  
И вот полозьев мёрзлый скрип,—  
И по бокам пошли стелиться  
Поля. Поля. И сквозь поля  
Весь день трусить своей дорогой  
И к ночи, печку запыля,  
Заснуть в избе. А утром — трогай!  
Да не спеша. Чай, позван он  
Не для войны, не для похода...  
А если так, то есть резон  
Сослаться на болезнь, на годы,  
На что придётся. Подождут.  
На что мы им? У них в наградах  
Не тот, кто штурмом брал редут,  
А тот, кто мёрз на вахтпарадах.  
Слуга покорный! Он глядит  
В заиндевевшее окошко.  
В кибитке рядом с ним сидит  
Его денщик и нянька — Прошка.  
«Эй, Прошка! Прошка!» — Прошка спит.

Он пахнет водкой и капустой.  
Опять нашлся. Стук коньт.  
То столб, то крест, то снова пусто,  
Коньта месят снег и грязь,  
Возок то вниз, то вверх взлетает.  
Фельдмаршал, к стенке прислонясь,  
Шлутарха медленно листает.

3

Он под военною трубой  
Был вскормлен, вспоен и воспитан.  
И добрый барабанный бой  
Не раз в бою им был испытан.  
На неприступный Измаил  
Ведя полки под вражьи клики,  
Он барабанный бой цепил  
Превыше всяческой музыки.  
Но то, что нынче над Цевой, —  
На барабан не походило,  
А день и ночь по мостовой,  
Как будто градом колотило,  
Сквозь снег, сквозь волн балтийских плеск  
Однообразно, как машина,  
Воловых шкур ушлый треск  
И прусских дудок писк мышинный.  
Фельдмаршал ждал в приёмной зале  
И слушал барабанный стук.

«И так всю жизнь?» — Ему сказали,  
Что так всю жизнь. Что от потуг  
На барабанах рвутся шкуры.  
В них снова дупят, починя.  
На потолках дрожат амуры, —  
Один упал третьёго дня.  
Рассказчик смолк. Из-за угла  
Донёся долгожданный топот.  
Шёл Павел. Зала замерла,  
Остался только палок грохот.  
Но было слышно на момент,  
Как вдруг, не в такт немецким маршам,  
Марш «Как ходили под Дербент»  
Об стол выстукивал фельдмаршал.  
Сильнее прежнего курнос,  
Царь в зал вбежал, заткнув за лацкан  
Ещё не читанный донос.  
Фельдмаршал был весьма обласкан.  
Прощён, с порога спрошен: «Где же  
Наш русский Цезарь?» Обольщён.  
И надо ж быть таким невежей  
И грубым чудаком, как он,  
Чтобы, зевнув на комплименты,  
Перевести тотчас же речь  
На контрэскарпы, ложементы,  
Засеки, флешы и картечь;  
Ворчать, что зря взамен атак  
На смотры егерей гоняют,

И долго шмыгать носом так,  
Как будто во дворце воняет.  
Здесь всё по-прусски, не по нём.  
Царь вышел вместе с ним на площадь,  
Там рядом с павловым конём  
Ему была готова лошадь.  
И, вылетев во весь карьер,  
Поехали вдоль фронта рядом —  
Курносый прусский офицер  
С холодным оловянным взглядом  
И с ним, бок о бок, старичок,  
Седой, нахохленный, сердитый,  
Одетый в лёгкий сюртучок  
И в синий плащ, в болах пробитый  
Нет, он не может отрицать,  
Войска отличный вид имели,  
Могли оружием бряцать  
И ноги поднимать умели.  
Не просто поднимать, а так,  
Что сбоку видишь ты — ей-богу! —  
Один шнурок, один башмак,  
Одну протянутую ногу.  
А косы, косы! А мундир —  
Крючки, шнурки, подтяжки, пряжки.  
А брюки — пригнанные к ляжкам  
Так, что нельзя попасть в сортир.  
Но это не беда — солдат  
Обязан привыкать к лишениям.

Мундирчик тоже тесноват —  
Целовко в нём ходить в сраженьях.  
Зато красив! Вселяет страх!  
Тотчас запросят турки миру,  
Завидев полк в таких мундирах,  
В таких штанах и галунах.  
Но дальше было не до шуток.  
Полк за полком и снова полк —  
И всё, как дерево. И жуток  
Вид плоских шляп, кургузых пол,  
Пелепых кос. Да где ж Россия?  
Где настоящие полки,  
Подчас раздетые, босые,  
Полмира бравшие в штыки?  
Фанагорийцы, гренадеры,  
Суворовцы? Да вот они —  
Им дали прусские манеры  
И негодные штаны;  
Им гатчинцы даны в капралы,  
Их отучили воевать,  
Им старого их генерала  
Приказано не узнавать.  
Но сквозь их косы, букли, пудру  
Он сам их узнаёт. И — врешь! —  
Ещё придёт такое утро,  
Когда он станет вновь хорош.  
И, наплевав на все доносы,  
В походе в первый день войны

Рассыплет пудру, срежет косы  
И перешить велит штаны.  
Он рысью тронул вдоль квадрата  
Молчавших войск. Но за спиной  
Уже кричал ему штабной:  
«Велит вернуться император!»—  
«Скажи царю, что я не волен  
Исполнить то, что он велит.  
Скажи царю: Суворов болен,  
Мол, брюхо у него болит...»

4

На целый город разговору—  
Кого фельдмаршал посетил,  
Что нынче говорил Суворов,  
Над чем он давеча шутил.  
О шпагах вышло повеленье—  
Носить их, как у пруссаков,  
Ремень по самые колени,  
Эфес почти у башмаков.  
Намедни, отворив карету,  
Фельдмаршал встал на полпути,  
Представясь, будто шпага эта  
В карету не даёт взойти.  
Уж он со шпагой так и этак  
Карету обходил кругом,  
И в дверцу лез, и напоследок,

Махнув рукой, пошёл пешком.  
Да где ж он сам? В дому Хвостова  
Живёт, молвою окружён.  
Держась обычая простого,  
С утра большую погу он  
Оденет в туфель крымский красный,  
А на здоровую — сапог,  
Камзол натянет кашифасный,  
Чтоб не простыл пробитый бок.  
Папётся вместе с Прошкой чаю,  
Газету спросит. У окна,  
Своим бездействием скучая,  
Сидит почти что дотемна.  
Весь день, сведённые в квадраты,  
По улице идут солдаты.  
У них то нос, то рот, то лоб  
От частого битья опухли.  
Их лакированные туфли  
По русской грязи шлёп да шлёп.  
Он вспоминает: в девяностом,  
Как раз второго декабря,  
На Измаильских аванпостах  
Стояли эти егеря,  
Когда, продрогнувши в дороге  
И до смерти загнав коней,  
Два всадника размяли ноги  
У русских лагерных огней.  
Вся свита по пути отстала,

Суворов прибыл налегке.  
Казак пожитки генерала  
Вёз в трёхфунтовом узелке.  
Сто вёрст они по снегу гнали.  
На аванпостах дан привал.  
Суворова солдаты знали,  
А кто не знал, тот узнавал  
Его по маленькому росту  
И по простому сюртуку,  
А больше по тому, как просто  
Подсел он с ними к огоньку  
И, завернув рукав, картошку  
Брал из солдатского котла  
И подбирал с коленей крошки, —  
Он знал — еда скудна была.  
Ещё он наскоро обедал,  
Ещё не говорил с полком,  
А все уж знали — к ним победа  
Явилась с этим стариком.  
Да что греха таить! Когда  
В доме клеветов не бывает,  
Достав мундир, он иногда  
Его по форме надевает.  
Пока Суворов жив, пока  
Не гнёт он старые колена,  
Ещё надежда есть в полках,  
Что армия уйдёт из плена  
Голштинских палок и затей,

Что гатчинцев ещё удавят.  
И в гарнизонах ждут вестей,  
Что вновь Суворов службу правит.  
Просить пардону? Не дождутся.  
Зато он нынче попросил  
Пустить домой. Мол, обойдется  
И без него... Дождь моросил,  
С залива ветер креп, под вечер,  
Кругом ни площад, ни огней.  
Давно пора зажечь бы свечи,  
Да при свечах ещё тошней.

. . . . .  
Взяв дозволенье на дорогу,  
Он утром выехал. Кругом  
Бой барабанов. Трогай, трогай!  
Вот дом с последним кабаком,  
Мелькают фалды, шляпы, шубы...  
Вот и шлагбаум промелькнул.  
Присвистнув, кучер вскинул чубом  
И в поле круто завернул.  
Конята месят снег и грязь,  
Возок то вниз, то вверх взлетает.  
Фельдмаршал, к стенке прислонясь,  
Плутарха медленно листает.

## ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД

(1799 г.)

### 1

В швейцарском городке Таверна  
Суворов дал привал войскам.  
Ночь выдалась дождливой, скверной,  
Тумац сползал по ледникам,  
Ветра о предгорий, как в мешок,  
В тавернскую долину дули,  
Как будто в Клязьме или в Туле —  
Холодный сыпался снежок.  
И новобранцам было странно,  
Что здесь, за тридевять земель,  
В заморских чужеземных странах  
Бывает тульская метель,  
Что здесь, у речки, мужики,  
Как под Калугой, сено косят,  
Что бабы здесь под праздник носят  
Почти рязанские платки.  
Уже не первый день в походе,  
Далеко занесло солдат.  
Они привыкли и к погоде,  
И к виду итальянских хат.

Они привыкли каждый раз  
В обед — по-здешнему, в сиесту —  
Пить виноградный кислый квас,  
Есть длинное, как нитки, тесто.  
Но как привыкнуть им к тому,  
Что, сединами убелённый,  
Прямой сенатор по уму,  
Сам ихний писарь батальонный  
И тот не мог ответить им —  
Чего они здесь не видали,  
Зачем они в такие дали  
Зашли с фельдмаршалом своим.  
И всё же ляжки гарнизонной  
Нам легче десять ран в бою,  
Ночлег бездомный, марш бессонный  
И даже смерть в чужом краю.  
Здесь, если фуражир крадёт  
И квартирмейстер нас не кормит, —  
Суворов сук для них найдёт  
И по солдатской просьбе вздёргнет.  
Здесь штык ценней, чем галуны.  
Здесь даже ротный бросил драться:  
Был мир — так: «Сукнины сыны»,  
А тут война — так сразу: «Братцы».  
Суворов впереди полка  
Летает на коньке крылатом:  
«Вперёд, орлы! Вперёд, ребята,  
Не подведите старика!»

Что ж, мы его не подведём,  
Всё сделаем, как он прикажет,  
Да только жаль: домой придём —  
Спасибо мало кто нам скажет.  
По дому так грызёт тоска,  
Что офицеров не спросили,  
От них секретом два лужка  
Швейцаркам здешним накосили;  
Поднялись рано, до зари,  
Свистели травы луговые  
Так, словно вновь мы косари,  
А не солдаты фрунтовые.

2

Снег перестал. Шёл ветер с моря,  
Дрожали первые лучи.  
Надувши щёки, трубачи  
По всем полкам играли зорю.  
Георгий прицелив к рубашке,  
Зевнув, перекрестивши рот,  
Суворов вышел нараспашку  
И сел на лавке у ворот.  
Штабной принёс ему газету.  
Суворов, посмотрев мельком,  
Свернул газету колпаком  
И голову прикрыл от свету.  
Как под Москвой с горы Поклонной,  
Был сразу виден целый край:

Путь вниз—оливковый, тёмнозелёный,  
Заросший виноградом рай,  
Путь вверх—по грифельным отрогам,  
По снежным голубым венцам,  
То закигавшимся, багровым,  
То снова гаснувшим зубцам.  
Здесь, не заметивши войны,  
Всё так же ходят за водою,  
В фаянсовые кувшины  
Поджарых коз лениво доят.  
Суворов нехотя смотрел  
На коз, на девочку-швейцарку...  
Он за год сильно постарел.  
Ему то холодно, то жарко,  
Всё чаще тянет на сеник,  
Всё реже посреди беседы  
В нём оживает озорник  
И вековечный непоседа.  
А кажется, ещё недавно,  
Когда он Вену посетил,  
Там над приезжим лордом славно  
Так, для забавы, подшутил:  
Четыре дня подряд являлся  
К обеду в слушенном чулке,  
И англичанин удивлялся  
Такой причуде в старике.  
Ну, что же, пусть предаст огласке,  
Чтоб знал британский кабинет,

Что у фельдмаршала подвязки,  
Бишь, ордена Подвязки нет...  
Теперь не то: он сам теперь  
Стал подозрительней и суше —  
Нет-нет и вдруг отворит дверь,  
Грозясь обрезать чьи-то уши.  
Австрийский генерал-бездельник  
Опять недодал лошадей,  
А из России нет вестей,  
Ни пушек, ни полков, ни денег.  
«Эй, Прошка!» — «Что?» — «Послушай,  
Прошка,

Ведь всё-таки фельдмаршал я.  
А ты мне, сукин сын, белья  
Не хочешь постирать ни крошки.  
Вот царь велел мне взять Париж,  
Войска одержат там победу,  
А ты напьёшься, задуришь, —  
Так без рубашки я и въеду?» —  
«Я б рад стирать, да нелегко,  
Погода всё стоит сырая.  
А до Парижа далеко —  
Весь гардероб перестираю.  
Да вы бы лучше, чем сердиться,  
Одели б сапожки, палаш,  
Да сверху нацепили б плащ —  
Недолго ведь и простудиться».  
Суворов, покорившись Прошке,

Одел и плащ и сапоги,  
Он — что греха таить — немножко  
Боялся старого слуги...  
На горном голубом ветру,  
Взлетая, хлопали знамёна,  
За пять минут, как на смотру,  
Выстраивались батальоны.  
И конский храп и трубный плач  
Летел по сонным переулкам  
И, отскочив от стен, как мяч,  
Об землю ударялся гулко.  
Суворов вышел на задворки,  
Там запоздавшие: одни  
Белили второнях ремни,  
Другие штопали опорки.  
Какой-то рослый новобранец,  
Вспотев и расстегнув мундир,  
Никак не мог засунуть в ранец  
Дарёный жителями сыр.  
«Не знаешь? Немогузнайка!  
Ну, ладно, счастье, брат, твоё,  
Что мне повался. Сыр подай-ка  
Да крепче в пол упри ружьё».  
Суворов, как татарин, важно  
Приготовляющий шашлык,  
Взял сыр, слезящийся и влажный,  
И посадил его на штык.  
«А коли будут разговоры,

Начнёт тебя бранить сержант,  
Скажи ему, что сам Суворов  
Отвёл штыки под провиант».

.....  
Последний егерский отряд  
Поспешно втягивался в горы.  
Почти над каждым из солдат,  
Как раз на штык пришедшись впору,  
Слезами молча обливаясь,  
Изнемогая от жары,  
Шагали в погу, не сбиваясь,  
На штык вздетые сыры.

3

В Швейцарии ему сказали,  
Что путь на Сен-Готард закрыт.  
Он огляделся — грозный вид:  
По чёрным рёбрам скал вползали  
И пропадали облака.  
Над ними два орла летало,  
И узкая, как нож, река,  
С камней срываясь, клокотала.  
Тогда, оборотясь к солдатам,  
Он крикнул: «Русские снега  
От нас далёко. Что ж, ребята,  
Возьмём хоть эти у врага».  
Старик шутил, но всякий знал,  
Коль шутит он, так жди, что скоро

Махнёт рукой, подаст сигнал  
Папропалую через горы.  
Он на биваке дров достанет,  
Из-под земли харчей найдёт,  
Зато беда, кто в бой отстанет,  
В атаку мешкотно пойдёт.  
При Пови жаркий приступ был.  
Мы трижды их атаковали.  
Они нас трижды выбивали.  
Завидев полк, идущий в тыл,  
Старик примчал в одной рубахе,  
Слетев с казацкого седла,  
Перед полком, молчавшим в страхе,  
Катался по земле со зла.  
...Что ж, мы пошли в четвёртый раз  
И взяли Пови!..

...Шли солдаты,  
Сержант припоминал Кавказ,  
Где он с полком бывал когда-то.  
Кусая ус, седой капрал  
Глядел на выси Сен-Готарда  
И новобранцам бойко врал,  
Что заготовлена петарда,  
Вот как забьют да запалят...  
Скользя, взбираясь вверх по тропке,  
Суворов объезжал отряд:  
На вьючной лошади, в коробке,  
Везли и жезл и ордена, —

Они нужней ему в столице.  
С одним Георгием в петлице,  
В мундире грубого сукна,  
Он проскакал вперёд по мосту.  
Дощечки тонкие тряслись.  
Свистали пули. Аванпосты  
Уже с французами сошлись  
И первый натиск задержали.  
Так начинался Сен-Готард.  
Костров, иль господин Державин,  
Или иной российский бард  
Уже пальбу отсюда слышит  
И, вдохновением горя,  
Уже, наверно, оду пишет,  
С железной лирой говоря:  
«Се мой (гласит) воевода!  
Воспитанный в огнях, во льдах.  
Вождь бурь, полночного народа,  
Девятый вал в морских волнах».  
Средь воинских трудов суровых  
Фельдмаршал муз не забывал.  
Пиите бедному, Кострову,  
По сто червонцев выдавал,  
И все эпистолы и оды,  
Всё посвящённое ему,  
В секретном ящике комода  
Хранилось в кобринском дому.  
По чёрным скалам стлался дым,

Уж третий час, как батальоны  
Вслед за фельдмаршалом своим  
Карабкались по горным склонам.  
Скользили ноги лошадей,  
Вьюки и люди вниз летели.  
Француз на выбор бил. Потери  
Давно за тысячу людей.  
Темнело... А Багратион  
Ещё не обошёл французов.  
Он, бросив лошадей и грузы,  
Взял гренадерский батальон  
И вверх повёл его по кручам  
Глубоко в тыл. Весь день с утра  
Они ползли всё ближе к тучам,  
Со скал срывали их ветра,  
С обрывов осыпался камень,  
Обвал дорогу преграждал...  
Вгрызаясь в трещины штыками,  
Они ползли.  
Суворов ждал.  
А время шло. Тумана клочья  
Спускались на горы. Беда!  
Фельдмаршал приказал хоть ночью  
Быть в Сен-Готарде. Но когда  
Последний заходящий луч  
Уже сверкнул за облаками,  
Все увидали: выше туч,  
Край солнца зацепив штыками,

Там, где ни тропок, ни следов  
От ветра, как орлы крылаты,  
Стоят на гребне синих льдов  
Багратионовы солдаты.

4

Француз бежал. И на вершину  
Пешком взобравшись по горе,  
У сен-готардских капуцинов  
Заночевав в монастыре,  
Суворов первый раз за сутки  
На полчаса сомкнул глаза.  
Сквозь сон ловил он слухом чутким,  
Как ветер воет, как гроза  
Гремит внизу у Госпиталя.  
Нет, не спалось... Затмив луну,  
По небу клочья тут летали.  
Он встал к открытому окну,  
В одном белье и необутый.  
Холсты палаток ветер рвал.  
Дождь барабанил так, как будто  
На вахтпараде побывал.  
«Послушай, Прошка!» Всё напрасно,  
Как ни зови — ответа нет.  
Лишь прошкин нос, от пьянства красный,  
Посвистывает, как кларнет.  
И всем бы ты хорош был, Прохор,  
И не было б тебе цены.

Одно под старость стало плохо —  
Уж больно часто видишь сны.  
И то ведь правда, стар он стал,  
То спит, то мучится одышкой,  
И ты давно уж не капрал,  
И Прошка больше не мальчишка.  
И старость каждого из вас  
Теперь на свой манер тревожит.  
Один — сомкнуть не может глаз,  
Другой — продрать никак не может.  
Из темноты, с доски каминной,  
Вдруг начали играть часы.  
Сперва скрипучие басы  
Проскрежетали марш старинный,  
Потом чуть слышная свирель  
В углу запела тонко-тонко.  
Суворов вспомнил: эту трель  
Он слыхивал ещё ребёнком.  
Часы стояли у отца  
На полке, возле русской печки.  
Три белых глиняных овечки  
Паслись у синего дворца.  
На башне начинался звон —  
Вверху распахивалась рама,  
И на фарфоровый балкон  
Легко выскакивала дама...  
Пашупав в темноте шандал,  
Он подошёл к часам со свечкой.

Всё было так, как он и ждал —  
И луг, и замок, и овечки,  
Но замок сильно полинял  
И три овечки постарели,  
И на условленный сигнал  
Охришей старенькой свирели  
Никто не вышел на балкон.  
Внутри часов заклокотало,  
Потом раздался хриплый звон,  
Пружина щёлкнула устало...  
Часы состарились, как он.  
Они давно звонили глухо,  
И выходила на балкон  
Уже не дама, а старуха.  
Потом старуха умерла.  
Часы стояли опустело,  
И лишь пружина всё гнала  
Вперёд их старческое тело.  
Глагол времён — металла звон,  
Он знал, прислушавшись к их ходу,  
Что в Сен-Готарде начал он  
Последний из своих походов.

5

Прорвавшись в Муттец, он узнал  
От муттентальского шпиона,  
Что Римский-Корсаков бежал,  
Оставив пушки и знамена,

Что все союзники ушли,—  
Кругом австрийская измена,  
И в сердце вражеской земли  
Ему едва ль уйти из плена.  
Но что нам плен? Полвека он  
Учил полки и батальоны,  
Что есть слова: «давать пардон»,  
Но нету слов: «просить пардону».  
Не переучиваться ж им?  
Так, может, покориться року  
И приказать полкам своим  
Итти в обратную дорогу?  
Но он учил за годом год,  
За поколеньем поколенье,  
Что есть слова: «итти вперед»,  
Но нету слова: «отступленье».  
Пора в поход вьюки торочить!  
Он верит — для его солдат  
И долгий путь вперед короче  
Короткого пути назад.  
Наутро созван был совет.  
Все генералы крепко спали,  
Когда фельдмаршал, встав чуть свет,  
Пошёл бродить по Муттепталю.  
В отряде больше нет, хоть плачь,  
Ни фуража, ни дров, ни хлеба.  
Четыреста голодных кляч  
Трубят, задравши морды к небу.

В разбитой наскоро палатке  
Вповалку егеря лежат,  
У них от холода дрожат  
В крови запёкшиеся пятки.  
Пять суток без сапог, без пищи,  
По острым, как ножи, камням,—  
Кто мог, обрывки голенища  
Бечёвкой прикрутил к ступням.  
Где повалились, там и спали.  
И нынче, встав уже с утра,  
Сырые корешки копали,  
Сбирали ветки для костра  
И шкуру павшего вола  
Штыками на куски делили  
И, наворачнув на шомпола,  
Перед костром её палили.  
Пусты сухарные мешки,  
Ремнём затянуты покорно,  
Гудят голодные кишки,  
Как гренадерская волторна.  
Поправив драную одежду,  
Встают солдаты с мест своих  
И на него глядят с надеждой,  
Как будто он накормит их.  
По сам он тоже корки гложет,  
Он не Христос, а генерал.  
Из корок, чорт бы их побрал,  
Он сто хлебов испечь не может!

Он видел раны, смерть, больницы,  
Но может прошибить слеза,  
Когда глядишь на эти лица,  
На эти впалые глаза.  
На ворохе гнилой соломы  
Стоял у полковой казны  
Солдат, фельдмаршалу знакомый  
Чуть не с турецкой ли войны.  
Ещё с Козлуджи, с Туртукая...  
Стоит солдат, ружьё в руках.  
Откуда выправка такая,  
Такая сила в стариках?!  
Усы расчёсаны седые,  
Ремень затянут вперехват,  
И пуговицы золотые,  
Мелком начищены, горят.  
Мундир зашит на удивленье,  
Стоит солдат, усы торчком:  
В парадной форме по колени,  
А ниже формы — босиком.  
Подгрёб себе клочок соломы,  
Ногой о ногу не стучит.  
А день-то свеж, а кости ломит,  
А брюхо старое бурчит,  
А на мундире десять дыр,  
Из всех заплаток лезет вата.  
Суворов подошёл к солдату,  
Взглянул на кивер, на мундир,

Взглянул и на ноги босые...  
И, рукавом содрав слезу,—  
От ветра, что ль, она в глазу? —  
Спросил солдата: «Где Россия?»  
Когда тебя спросил Суворов,  
Не отвечать — помилуй бог!  
И гренадер без разговоров  
Махнул рукою на восток.  
Суворов смерил долгим взором  
Отроги, пики, ледники.  
По направлению руки  
На сотни вёрст тянулись горы;  
Чтоб через них пробиться грудью,  
Придётся многим лечь. Жесток  
Путь через Альпы на восток.  
Вздымая на горбу орудья,  
Влезать под снегом, под дождём  
На стосажённые обрывы...  
«И всё-таки ты прав, служивый,  
Как показал, так и пойдём!»

. . . . .  
С рассветом возвратившись в дом,  
Где ждал совет его, впервые  
Он все отличья боевые  
Велел достать себе. С трудом  
Одел фельдмаршальский парадный  
Мундир из тонкого сукна,  
Поверх мундира все награды,

Все звёзды, ленты, ордена  
За Ланцкорону, Прагу, Краков,  
За Рымник, Измаил и Брест,  
Перо с алмазом за Очаков  
И за Кинбурн алмазный крест.  
Подул на орденские ленты,  
Пылилки с обшлагов стряхнул,  
Потом, оправив эполеты,  
С усмешкой на ноги взглянул:  
Не лучше своего солдата,  
Стоял он чуть не босиком,  
Обрывком прелого шиагата  
Подмётка сшита с нередком.  
Ещё — спасибо — верный Прошка,  
Как только станешь на привал,  
Глядишь, то плащ заштопал трошки,  
То сапоги поврачевал.  
За дверью ждали господа —  
Полковники и генералы;  
Его счастливая звезда  
Их под знамёна собирала.  
Дерфельден, и Багратион,  
И Трубников... Но даже эти  
Молчали, присмирив, как дети,  
И ждали, что им скажет он.  
Казалось, недалёко сдача.  
Кругом обрывы, облака.  
Ни пуль, ни ядер. Старика

В горах покинула удача.  
Войска едва бредут, устав,  
Фельдмаршал стар, а горы круты...  
Но всё до той минуты,  
Как он явился. Увидав  
Его упрямо сжатый рот,  
Его херсонский плащ в заплатках,  
Его летящую вперёд  
Походку старого солдата,  
И волосы его седые,  
И яростные, как гроза,  
По-стариковски молодые  
Двадцатилетние глаза,  
Все поняли — скорей без крова  
Старик в чужой земле умрёт,  
Чем сменит на другое слово  
Своё любимое — вперёд!

6

Последний горный перевал...  
На Рингенконфе пела вьюга,  
Холодный ветер завывал.  
Гуськом, хватаясь друг за друга,  
Ползли солдаты. Ни кирки,  
Ни альпенштока. Ветер в спину.  
Перевернувши карабины,  
Шли, опираясь на штыки.

Подряд, как волны в океане,  
У ног катились облака.  
Протянешь руку — и рука  
Сейчас же пропадёт в тумане.  
По сторонам тропы лежали  
Обледенелые тела.  
Эй, чур, не плакать! Как ни жаль их,  
Но где добудешь им тепла,  
Где шуба, чтобы их согреть,  
Где заступ — вырыть им могилу,  
Где хоть фонарь, чтоб через силу  
В глаза умершим посмотреть?  
Сегодня, заклепавши туго,  
Швырнули пушки под откос.  
Вся орудийная прислуга  
Глядела вниз, давясь от слёз.  
А пушки падали, стуча,  
Подпрыгивая на откосах,  
Теряя в воздухе колёса  
И медным голосом крича.  
Суворов едет рядом с нами,  
Он еле жив. Два казака,  
Вплотную съехавшись конями,  
Подмышками держат старика.  
Пускай тиранит лихорадка,  
Горит в груди, во рту горчит —  
Суворов по своей повадке  
Всё ёрничает да ворчит.

Артиллеристам помогая  
Забуть про гибель батарей,  
Австрийцев матерно ругает  
Под громкий хохот егерей:  
И, вдруг заметив, что отряд  
Опять в дороге унывает,  
Он для босых своих солдат  
Тверскую песню запеваёт:  
«Ах, что же с девушкой случилось,  
Ах, что же с красной за беда?  
Она все лапотки стоптала,  
Не может выйти никуда».  
Ни разу ни одна войска  
Ещё не шла по этим тропам.  
На них взирает вся Европа,  
Во всех углах материка  
Гадают, спорят и судачат,—  
Пройдут они, иль не пройдут,  
Что ждёт их—гибель иль удача?..  
Пусть их гадают. Только тут,  
Среди лишений и страданий,  
Среди камней и снежных груд,  
Солдаты знали без гаданий,  
Что русские везде пройдут!

## ОДИНОЧЕСТВО

(1880 г.)

### 1

По крайним улицам без света,  
Стараясь проскочить скорей,  
В столицу въехала карета  
Без гайдуков и фонарей.  
Тафтой задрнутые окна  
Тряслись в расшатанных пазах,  
И фартук кожаный, намкнув,  
Был в крупных дождевых слезах.  
Солдат, стоявший у заставы,  
Ей путь загородил штыком,  
Намериваясь по уставу  
Дознаться, кто в ней седоком.  
Но кучер с козел наклонился  
И что-то на ухо шепнул.  
Солдат с пути посторонился  
И молча взял на караул.  
Миная караульный пост,  
Карета быстро поскакала  
Сперва через Торговый мост,  
Потом вдоль Крюкова канала  
И с громом стала у крыльца.

Два денщика, согнувши спины,  
Из двери вынесли перину  
И, взяв её за два конца,  
Пройдя вдоль тёмных коридоров,  
Внесли в покой. Под простынёй  
В жару, простуженный, больной,  
Закрыв глаза, лежал Суворов.  
Он застонал от боли, Прошку  
Костлявым пальцем поманил,  
Чтоб тот бельё переменял  
И в кресла посадил к окошку.  
Потом, немного отойдя,  
Велел, чтоб печку протопили.  
Дрожали стёкла от дождя,  
И молнии глаза слепили.

2

Послушно съёжившись в комок,  
Дрожал, укутан в две шинели...  
Уже которую неделю  
Никак согреться он не мог:  
То одеялом и платком  
Прикроет Прошка, то бутылку  
Из-под шампанского к затылку  
Прижмёт, наливши кипятком,  
То руки, синие, как лёд,  
Себе за нозуху положит  
И держит так ночь напролёт,

Как будто отогреть их может.  
Но как ни грей их, всё равно,  
Что пользы в том, когда наружу  
Весь день отворено окно  
И в комнате такая стужа...  
— Скорей закрой окно! — Да что вы!  
Вам померещилось. Оно,  
Чай, с осени на все засовы  
Законопачено давно. —  
И Прошка пальцем сколупнёт  
Кусок замазки с зимней рамы  
И в доказательство упрямо  
Её показывать начнёт.  
— Да, показалось. Но откуда  
Так дует ветер, словно с гор?  
Ещё альпийская простуда  
Не отпускает до сих пор.  
Метель кружится по отрогам,  
Того гляди, сметёт на дно...  
Пока не поздно, ради бога,  
Закройте кто-нибудь окно. —  
И чтобы не сердить больного,  
Придётся Прошке встать к окну  
И, створку отодрав одну,  
Тотчас её захлопнуть снова.  
— Ну вот, как будто и теплей,  
Теперь совсем другое дело.  
Да кипятку в бутылку подлей,

Чтоб кровь в висках не холодела. —  
Сейчас тряхнуть бы старинною,  
Воды черпнувши из Невы,  
Вдруг нестерпимой, ледяною  
Обдаться с ног до головы.  
Клин клином вышибить! Но где там,  
Когда не шевельнуть рукой,  
Когда, небось, уж гроб с глазетом  
Ему заказан в мастерской.  
Всё можно взять у человека:  
Чины, награды, ордена,  
Но та холодная страна,  
Где прожил он две трети века,  
И синые леса вдали,  
И речки утренняя сырость,  
И три аршина той земли,  
Скупой и бедной, где он вырос,  
Земли, в которую его  
Вдвоём со шшагою положат, —  
Её ни месть, ни плутовство,  
Ничто уже отнять не сможет.  
Среди обычных хлопот, дел  
Он редко замечал природу,  
Но вдруг сегодня захотел  
К песчаному речному броду  
Подъехать на рысях в жару  
И жадно воду пить из горсти,  
Или, к своим оброчным в гости

С ружьём забравшись поутру,  
Из камышей пальнуть по уткам,  
А коли на дворе зима,—  
По новгородским перепуткам  
Скакать в лесу, чтоб бахрома  
С ветвей за шиворот, чтоб тело  
Кололо снегом, чтоб лиса,  
Как огненная полоса,  
Вдруг за стволами пролетела...  
Всё это вовсе ни к чему —  
Да умирать уж больно жалко,  
И стало нужно вдруг ему,  
Чтобы в лесу кричала галка,  
Чтоб пел петух, чтоб снег скрипел,  
Чтобы сейчас, пока он дышит,  
Он снова услышать успел  
Всё то, что завтра не услышит.  
И, Прошку! с толку сбив, теперь,  
Когда все щёлочки заткнули,  
Он просит, чтоб открыли дверь  
И окна настежь распахнули.  
...Под крышей верещат скворцы.  
Гремит ямская колымага,  
И под колёсами торцы  
Потрескивают, как бумага.  
Протяжно, как веретено,  
Скулит в собачнике борзая...  
Ну, ладно, хватит, замерзаю!

Не надышаться всё равно.  
А помнишь, Прошка, в Измаиле  
Как ты горячкою хворал?  
— Ещё б не помнить. Был в могиле,  
Да бог раздумал, не прибрал.  
— Ты вспомни, Прошка, ты, похоже,  
Почти. как я, болел тогда,  
Я рук не подниму — ты тоже  
Не мог их сдвинуть никуда,  
И кости у тебя болели,  
И люб, как у меня, нотел...  
И уж не думал встать с постели,  
А помирать всё не хотел.  
Сперва садился на кровать,  
Потом ходил, держась за стену...  
Вот так и я, глядишь, опять  
И встану и мундир надену...  
Что плачешь? Думаешь, не встать?  
Сам знаю — время в путь-дорожку.  
Начнёт за окнами светать,  
Один, как перст, ты будешь, Прошка  
Да разве ты один такой?  
Пересчитай полки и роты,  
Как только выйду на покой —  
Все будут без меня сироты...—  
Но Прошка, привалясь к стене,  
Не выдержав ночей бессонных,  
Уже дремал и монотонно

Поддакивал ему во сне...  
И ни души кругом... Ну, что же,  
Пока ты важный господин,  
Так все готовы лезть из кожи,  
А умирать — так ты один...  
Он поспешил глаза смежить,  
Чтоб не прочли в последнем взоре  
Безумную надежду жить,  
Людское, будничное горе.

3

Чтоб этим оскорбить хоть прах,  
В эскорт почётный, против правил,  
В тот день заняв их на смотрах,  
Полков гвардейских не дал Павел.  
Вдоль долгих улиц гроб несли.  
За ним несли ряды регалий,  
Оркестры медным шагом шли,  
Полки армейские шагали.  
Ну, что ж. Суворов, будь он жив,  
Не счёл бы это за обиду,  
Он, полетометья прослужив,  
Привык к походному их виду,  
Он с ними не один редут  
Взял на веку. И, слава богу,  
За ним в последнюю дорогу  
Армейские полки идут.

1938—1939

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

### *Стихи военных лет*

Убей его. 1942 . . . . .	5
Безыменное поле. Июль 1942 . . . . .	9
Слепец. 1943 . . . . .	14
Через двадцать лет. 1942 . . . . .	18
Бинокль. 1941 . . . . .	20
Солдатский разговор. 1943 . . . . .	22
Открытое письмо. 1943 . . . . .	24
Смерть друга. 1942 . . . . .	31
Фляга. 1944 . . . . .	33
У огня. 1943 . . . . .	35
Атака. 1942 . . . . .	38
Пехотинец. 1942 . . . . .	40
Матвеев Курган. 1943 . . . . .	41
Дом в Вязьме. 1943 . . . . .	44

### *Лирический дневник*

Плюшевые волки.. 1941 . . . . .	49
Тринадцать лет. Кино в Рязани. 1941 . . . . .	51
Если родилась красивой. 1941 . . . . .	53
Майор привёз мальчишку на лафете. 1941 . . . . .	56

Жди меня, и я вернусь. 1941 . . . . .	58
Не сердитесь, к лучшему. 1941 . . . . .	60
Если бог нас своим могуществом. 1941 . . . . .	62
Я не помню, сутки или десять. 1941. Одесса	64
Над чёрным носом нашей субмарины. 1941.	
Чёрное море . . . . .	67
Мы не увидимся о тобой. 1941 . . . . .	69
В домотканном, деревянном городке. 1941	71
Я помню двух девочек, город ночной. 1941	73
Я шёл за тебя под Одессой в землянке. 1941	75
Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины.	
1941 . . . . .	77
Я, перебрав весь год, не вижу. 1941 . . . . .	80
Когда на выжженном плато. 1942 . . . . .	83
Твой голос поймал я в Смоленске. 1942 . . . . .	86
Пусть прокляну впоследствии. 1942 . . . . .	88
Не раз видал, как умирали. 1943 . . . . .	90
Когда нисходит благодать. 1944 . . . . .	92
И этот год ты встретишь без меня. 1944	94
Был у меня хороший друг. 1942 . . . . .	96
Хозяйка дома. 1942 . . . . .	100

### *Из первых книг*

Всю жизнь любил он рисовать войну. 1939 . . . . .	107
Старик. 1939 . . . . .	109
Изгнанник. 1939 . . . . .	112
Генерал. 1937 . . . . .	115
Мурманские дневники. 1938 . . . . .	118
Мальчик. 1939 . . . . .	126
Дружба. 1939 . . . . .	128
— Что ты затосковал? 1939 . . . . .	130
Я, наконец, приехал на Кавказ. 1939 . . . . .	132
Вагон. 1938 . . . . .	134
Куда ни глянешь — без призора. 1939 . . . . .	137

Транссибирский экспресс. 1939 . . . . .	139
Дерева. 1939 . . . . .	142
Фотография. 1939 . . . . .	145
Кукла. 1939 . . . . .	147
Сверчок. 1939 . . . . .	149
Танк. Октябрь. 1939 г. Халхин-Гол . . . . .	151

*Главы из повести «Первая любовь»*  
(1936—1941)

Первая глава . . . . .	157
Вторая глава . . . . .	166
Третья глава . . . . .	192

*Суворов*  
(1958—1959)

Опала . . . . .	209
Последний поход . . . . .	225
Одиночество . . . . .	246

*Редактор С. Петров  
Технический редактор О. Чеботарева*

\*

*Сдано в набор 2/III 1945 г. Подписано к печати  
9/VII 1945 г. А-21112. Тираж 25 000 экз.  
8 печ. л. Зак. 615. Цена в обложке 5 руб.*

\*

*б-я типография треста «Полиграфкнига»  
Огиза при СНК РСФСР  
Москва, 1-й Самотечный, 17.*

8 руб.



ОГИЗ—ГОСЛИТИЗДАТ 1945